

АРКАДИЙ И ГЕОРГИЙ  
ВАЙНЕРЫ

Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...



PREMIUM

Азбука Premium. Русская проза

Георгий Вайнер  
**Я, следователь...**

«Азбука-Аттикус»

1967, 1968, 1988

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

**Вайнер Г. А.**

Я, следователь... / Г. А. Вайнер — «Азбука-Аттикус», 1967,  
1968, 1988 — (Азбука Premium. Русская проза)

ISBN 978-5-389-20986-2

Аркадий и Георгий Вайнеры – признанные мастера детективного жанра. В их произведениях, посвященных работе следователя уголовного розыска Станислава Тихонова, с одной стороны, всегда присутствует увлекательный, лихо закрученный сюжет, с другой – поднимаются сложные психологические и этические проблемы, без прикрас описаны будни сотрудника милиции. Не получается у Тихонова щадить себя. Чтобы поймать преступника, действовать всегда надо стремительно, на опережение, использовать наимельчайшие зацепки, думать на несколько ходов вперед, распутывать следы, задавать вопросы множеству людей, а ведь у каждого – своя история, свой интерес. В итоге, зачастую даже речи не может идти об отдыхе, у следователя почти нет свободного времени и большие сложности с личной жизнью... Выдержать такое чудовищное напряжение может лишь человек с обостренным чувством справедливости, убежденный в том, что вору и убийце место в тюрьме. В центре непримиримых конфликтов всегда – острое противостояние интеллектов. Кто же победит?.. Все вошедшие в сборник произведения («Телеграмма с того света», «Часы для мистера Келли», «Я, следователь...») послужили основой для популярных теле- и кинофильмов.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-20986-2

© Вайнер Г. А., 1967, 1968, 1988

© Азбука-Аттикус, 1967, 1968, 1988

## Содержание

Телеграмма с того света	7
Конец ознакомительного фрагмента.	71

# **Георгий Вайнер, Аркадий Вайнер** **Я, следователь...**

## ***Сборник***

© А. А. Вайнер, Г. А. Вайнер (наследники), 1968, 1970, 1988

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022

Издательство АЗБУКА®

\* \* \*

## Телеграмма с того света

...Мир вокруг меня был объят серой пеленой, и я знал твердо, что за дымно клубящимся сводом – сон. А здесь, внутри бесплотного шатра, за которым плыла нереальность, – здесь была явь. Был гладкоструганый сосновый стол, тонкий чайный стакан, над которым я постепенно сдвигал дрожащие от напряжения ладони, – и стакан оживал, еле заметно начинал двигаться, и, когда ток крови с ревом зашумел во мне, стакан оторвался от стола и повис в воздухе...

Стакан висел, удерживаемый только моей волей, и ощущение необычайного счастья, чувство огромной внутренней силы затопило меня, я вспомнил название, имя этой силы, и закричал освобожденно – телекинез!!! – и стакан ерзливо выскользнул из моих разомкнутых ладоней и с пронзительным звоном полетел вниз, разлетаясь на куски дребезга еще до того, как ударился об пол и выбросил меня из моего отчетливого убежища яви в мутную облачность сна, и только непрерывный звон сопровождал меня на всем долгом пути, пока я плыл вверх через бесконечную толщу видений из своего затопленного батискафа яви, где я владел волшебной силой телекинеза...

И, не открывая глаз, чтобы не разрушить в себе это ощущение необычайного дара, а только оторваться от назойливо звенящей цепи сна, я поднял телефонную трубку и сказал шепотом:

– Слушаю...

В трубке засипело, чавкнуло, и далекий, измятый помехами голос вполз в ухо настырно и щекотно, как муравей:

– Тихонов? Это ты, Стас? Стас, это ты? Это Лариса с тобой говорит...

– Кто? Какая Лариса?

– Лариса! Коростылева! Николая Ивановича дочь... – И сквозь треск и писк в проводах, сквозь скрипучий шорох мембраны я услышал плач.

– Откуда ты? Что случилось? Алло, ты меня слышишь?

– Я из Рузаева... Папа умер... Прошу тебя... – И снова плач, издерганный помехами, стер все слова.

– От чего? Почему умер? – растерянно и бессмысленно спросил я, как будто сейчас имело значение, от чего мог умереть человек семидесяти трех лет.

– Инфаркт... Его убили... Приезжай, если можешь, приезжай обязательно...

Забились, забубнили в трубке гудки отбоя – разрыв связи, конец разговора, окончательно лопнула истончившаяся нить моего сна, и я понял: старик Коростылев умер – и сердце сжалось тревожно и больно.

И горечь от потери одного из немногих дорогих мне людей еще не проникла глубоко, она плавала на поверхности сознания желтой пеной досады, острой раздраженности на прерванный неповторимый сон, на дурную весть спозаранку, на то, что субботнее утро покоя и отдыха сразу же затянулось грозной пеленой неприятности и испуга.

Я не ощутил потери. Я еще не проснулся. Я не понял, что старик Коростылев умер. Я еще жил в своем волшебном сне, твердо зная, что обладаю сверхъестественной силой двигать и поднимать любые предметы энергией своей души, мощью взгляда, напряжением ума. Я еще был наделен гипнотической властью телекинеза.

И потому сознание мое не принимало мысль о смерти Коростылева, оно выталкивало на поверхность и гнало к периферии чувствования нелепую идею о том, что мог умереть человек – несмотря на мое удивительное могущество, – человек, который четверть века заменял мне отца, был старшим братом, воспитателем, душевным товарищем, советчиком, беззащитным старым подопечным...

Встал и пошел на кухню, ощущая своими вялыми ступнями горожанина холодящую гладкость паркетных клепок. И утро за окном было как этот паркет – бесцветно-чистое, прохладное, лакированно-гладкое. Неуверенное московское лето, жидкий голубой ситец над головой, мгновенно промокающий серым дождем.

Пустил из крана холодную воду и долго пил жадными глотками, будто израсходованная в телекинезе энергия иссушила меня до костей. А водопроводная труба надо мной гудела в это время низко и печально, как фагот.

Потом включил электроплиту, насыпал в турку коричневый крошащийся порошок кофе, плеснул воды, поставил на конфорку и уселся на табурет – в полном безмыслии, законченном безмолвии чувств, – я просто ждал, когда сварится кофе, и тупо обитал в своем противном настроении.

Скрипнула дверь, и появилась Галя, со сна пухло-розовая и примятая складочками, как зефир.

– Кто это тебя поднял ни свет ни заря? – спросила она.

– Дочь моего приятеля...

– А что она хотела?

– Сообщить, что он умер...

– Ой-ей-ей! Какое несчастье! – готовно огорчилась Галя.

Она всегда была готова вместе со мной огорчиться или порадоваться. Галя готовила себя в спутницы моей жизни, и по ее представлениям спутница жизни должна жить в эмоциональном резонансе со своим избранником. Время от времени она в безличных оборотах сообщала мне, что все несостоявшиеся или распавшиеся браки были нежизнеспособны из-за неумения или нежелания людей сопереживать друг другу. А Галя это умела. За нас двоих.

– Какое несчастье... – повторила Галя на полтона спокойнее и на октаву печальнее, не обнаружив ответа на свою реакцию сопереживания. Она мне хотела морально помочь, она была готова искренне огорчиться по поводу смерти неведомого ей моего приятеля, но из-за просоночной зефирной пухлости она мне была неприятна.

– Вы вместе работали? – озабоченно спросила Галя.

– Нет. Он был моим учителем...

– Учителем? – удивилась Галя. – Ты дружил со своим учителем?

– Да, я дружил со своим учителем. Тебя это удивляет?

– Нет, вообще-то, я могу себе это представить... Но это так редко случается...

– Наверное... Да и люди такие, как Коростылев, редко случаются...

– И вы с ним регулярно общались?

– Нет, не регулярно. Несколько лет назад он уехал из Москвы...

– Почему?

– Это мне тебе объяснить трудно...

– Почему же трудно? Я что, такая непонятливая? – постепенно раздражаясь и утрачивая готовность к сопереживанию, поинтересовалась Галя.

– Нет, ты понятливая. Но Коростылева ты не знала. Он мне сказал: я хочу жить в маленьком Рузаеве, и работать там, и знать всех, чтобы каждый вечер, когда я выхожу на прогулку, со мной здоровалась вся улица...

– Странная амбиция...

– Это не амбиция – ты просто Коростылева не знала.

– Он что, был чужак?

– Может быть, это и называется – чужак. Мудрый веселый старик...

– А она тебе не сказала, от чего он умер?

– От инфаркта, – ответил я, и в памяти резко, толчком вдруг всплыл раздерганный треском и расстоянием голос Ларисы: «...его убили...»



Как это – убили? За что? Каким образом? Он же умер от инфаркта...

«Приезжай... если можешь, приезжай обязательно...»

Убили? Что за чепуха? Коростылев – большой старый ребенок. Детей не убивают. Но дети, к счастью, не умирают от инфаркта. Как можно убить инфарктом?

– Бедный Тихонов, – сказала Галя и погладила меня по голове. От ее руки пахло кремом «Нивея», который я ненавижу. И не люблю, когда меня гладят по голове, – я весь напрягаюсь изнутри, и по спине у меня ползут мурашки. Какая-то ужасная форма добровольного рабства – я не могу собраться с духом и сказать Гале, что мне не нужно ее сопереживание, что я ничего не могу дать взамен ее любви, преданности, готовности понимать меня и стряпать для меня, что я от всей души желаю ей счастья, но как-нибудь отдельно от меня.

Как объяснить ей, что мы очень разные люди? И я не могу заплатить всей жизнью за то, что она меня когда-то полюбила. Надо бы ей сказать, что нельзя требовать за свою любовь такой большой платы. Но мне даже не приходит в голову, как начать такой разговор – ведь он наверняка требует какого-то сильного повода, грубой ссоры, скандала. А вот так, ни с того ни с сего сказать: «Давай, подруга, разойдемся!» – язык не поворачивается.

Интересно, как поступил бы на моем месте Коростылев, что сказал бы он Гале? Или ничего не говорил бы, а молча терпел? Правда, Коростылев, скорее всего, и не мог оказаться в таком положении. Он был из числа тех счастливых неудачников, которых женщины оставляют первыми. Когда от него ушла жена – мать Ларки, – он сказал мне с печальным смешком:

– Она, Августина Сергеевна, конечно и безусловно права. Что поделаешь? С точки зрения общих представлений о людях – я человек вполне дураковатый... Жить с таким трудно... Особенно стыдно перед соседями...

И левый, искусственный глаз блестел неуместно ярко, а правый, живой, моргал растерянно и грустно.

Мне было тогда немного жалко Коростылева, но сопереживание мое было похоже на Галино – я досадовал, что такой потрясающий человек, как Кольяныч, огорчен из-за ухода никому не нужной крикливой и некрасивой женщины. Ушла и ушла, бог с ней, всем от этого будет лучше и спокойней. Жизнерадостный юношеский эгоизм не допускал мысли, что у Кольяныча может быть иной взгляд на Августину...

Я смотрел на медленно поднимающуюся кофейную пенку, думал о Коростылеве и удивлялся неподвижности своей души: я почему-то совсем не испытывал уместной в таком случае скорби, а только тяжелое глинистое оцепенение сковывало меня полностью. Меня пугала мысль встать сейчас, одеться, уехать на вокзал, три часа трястись в электричке, потом еще на автобусе, спуститься с горы к покосившемуся домику, густо заросшему кустами бирючины и ракитника, распахнуть калитку и узнать, что Кольяныча нет дома. Навсегда. Ушел дед.

А когда последний раз провожал меня на автобусной станции, выглядел он совсем плохо, и я предложил устроить его в Москве в хорошую клинику. А он засмеялся своим булькающим тихим смехом, обнял за плечи, наклонился ко мне – дед был длинный, в нем была прекрасная тощая нескладность ламанчского бродяги – и сказал:

– Когда человек перестает бояться смерти – врачи ему не помощники...

Я покачал головой:

– Не выдумывай, Кольяныч, смерти все боятся...

– Наверное, сынок. Только в старости ожидание смерти утрачивает унижительный вкус страха, и остается лишь высокое огорчение оттого, что жизнь истекает...

Вот и истекла его жизнь. А мне остался унижительный вкус страха и горечи.

Галя сказала с искренней болью:

- Ну что ты все молчишь? Скажи хоть что-нибудь!..
- А что мне говорить? Человек должен говорить, когда молчать невозможно...
- Она сердито дернула плечом:
- Ты, конечно, поедешь туда?
- Конечно.

Потом вспомнила о своем долге сопереживать мне и, преодолев раздражение, вызванное крушением всех субботних планов, спросила:

- Чем я тебе могу быть полезна?
- Налей, пожалуйста, кофе...

Горячей воды в душе не было – обычная хамская привычка ЖЭКа выключать летом воду без всякого предупреждения. А может быть, зря я злоблюсь на них, может, и висело в подъезде объявление. Когда я возвращаюсь с работы, мне уже не до жэковских известий. И холодный душ не взбодрил, лениво и зябко поливал он меня, как когда-то, очень давно, поливал дождь у школьного подъезда, где отловил меня за шиворот новый учитель Коростылев Николай Иванович, которого, впрочем, ребята уже успели прозвать Колянычем, устрашающего вида мужчина с ярко-синим глазным протезом и пустым рукавом пиджака, аккуратно загнутым у локтя и припиленным под мышкой желтой английской булавкой.

- Ну-ка, боец, поведай, чего ты тут делаешь? Что привело?
- Ничего, – ответил я искренне, потому что по сей день не понимаю, что привело меня после целого дня затравленного блуждания по городу к дверям опустевшей школы: может быть, больше деваться некуда было.
- Это я вижу, – засмеялся Коляныч своим булькающим смехом. – Меня интересует, почему ты стоишь мокрый около школы, а не сидишь сухой в своем доме?..
- Не могу. У меня деньги на пальто украли. Мать убьет...
- Ну уж прям-таки убьет, – обескураженно заметил Коляныч. – Отец заступится...
- У меня нет отца, у меня отчим.
- А отчим не заступится?
- Если выпимши – заступится. А если трезвый – вряд ли...
- Кошмарную ты мне нарисовал картину. Много денег стянули?
- Триста семьдесят рублей. Вся материна получка...

Ах какие это были огромные деньги – триста семьдесят старых рублей! Сроду я не держал такой громадной пачки – две длинные, как простыни, сторублевки с изображением Кремля, две зеленые полсотни, две красные тридцатки и одна серая десяточка – толстенький сверток, который я трепетно прижимал рукой снаружи кармана, стоя в очереди около промтоварного склада ОРСа – отдела рабочего снабжения завода «Станколит». Сокровище было необозримо и лучезарно, оно, видимо, светилось сквозь жидкую ткань моей курточки, потому что ворщипач безошибочно вырезал его в одно касание бритвой-пиской...

Коляныч глаголем изогнулся надо мной и сообщил:

– Поскольку я не могу допустить ужаса детоубийства, придется мне отмусолить тебе из своих несметных запасов триста семьдесят рублей...

Я долго отнекивался, неуверенно отказывался, а в душе все ярче разгоралась надежда, что этот очень странный человек спасет меня от ужасного унижения. А поскольку я твердо знал, что у чужих людей денег брать нельзя, то для собственного успокоения спросил:

- А откуда же у вас несметные запасы денег?
- Остатки былого, – засмеялся Коляныч. – Хочешь верь, а хочешь не верь – несколько лет назад я сжег восемь тонн денег... С большим трудом...
- Ско-о-о-олько?
- Восемь тонн. Пульмановский полувагон. Намучились как бобики...

– А зачем же вы сжигали деньги? – потрясенно спросил я.

– Так я со своим батальоном попал в окружение под Харьковом. А на запасных путях остался банковский вагон с деньгами, не успели вывезти. Ну не оставлять же его немцам – вот мы и жгли. А они, деньжищи эти проклятые, в пачках, как кирпичи, – не горят ни за что, да дождь в придачу хлещет...

– И вы там набрали себе несметные запасы? – с восторгом поинтересовался я.

– Нет, сынок, – снова засмеялся Коростылев. – Когда жизнь почти смыкается со смертью, деньги вообще ничего не стоят.

– Почему?

– Мне сейчас объяснить тебе это трудно, у тебя в жизни стаж коротенький, про войну, про людей, про деньги ты еще знаешь маловато. Хотя дело, конечно, не только в возрасте. Мой солдат, Гулыга была его фамилия, набрал тогда потихоньку целый вещмешок денег. А утром мы пошли через линию фронта, и он взорвался на mine...

– Из-за того, что деньги взял?

– Может быть... Кто это точно знает?..

Кто это точно знает? Любимое присловье старика. Знак осмотрительной, пострадавшей мудрости. Может быть, старик Кольяныч научил меня ухмыляться, когда возглашают прописные истины вроде «дружба и деньги несовместимы»? Ведь теперь, глядя в бесконечный колодез нашего с ним прошлого, я вижу на самом дне, под темной водой забвения, триста семьдесят рублей. Две сотни, две полсотни, две тридцатки и одна десяточка – триста семьдесят рубчишков, превратившиеся со временем в жалобные тридцать семь, реформированные, истаявшие, истлевшие, сгоревшие в костре убежавших лет так же бесследно, как восемь тонн деньжищ на запасных путях под Харьковом. Да и был ли этот пульмановский полувагон? Существовал ли он в природе? Кто это точно знает?

Кольяныч мог все придумать. Я и сейчас не могу разобраться, что действительно происходило в его странной жизни, а что он выдумал. Я ведь своими глазами видел у него дома завешание Колумба...

Вылез из душа, растерся полотенцем и стал быстро одеваться. Стараясь не думать о Кольяныче, я инстинктивно гнал от себя воспоминания о нем, потому что с каждой минутой во мне медленно, как алкоголь, растекалось ощущение, что больше старика нет. Тяжело ныло под ложечкой.

Я открыл секретер и достал старую, пожелтевшую фотографию – 5-й класс «Б».

На сером фотографическом картоне – три десятка школьных физиономий, помещенных в белые овалы, каждый в своем ровном вытянутом кружочке, отчего весь фотоснимок похож на стандартную сетку с польскими яйцами – только зародыш в форменной курточке и галстук ясно виден сквозь меловую муть скорлупы. В волшебном инкубаторе времени все прошли положенный цикл развития, вылупились в жизнь нормальными курами, петухами, некоторые расправили крылья и взлетели орлами, а двое стали крокодилами.

Сейчас, рассматривая наши зародыши через микроскоп четверти века, пробежавшей с тех пор, как фотограф разместил нас в овальных скорлупках правильными рядами на картоне, я удивился тому, как ясно виден характер каждого яйца, как легко он угадывается.

Я не верю, что с годами люди сильно меняются. Мне кажется, что люди изменяются только количественно. Все уже написано было на наших физиономиях, когда «пушкарь» рассаживал нас перед своим черным ящиком на штативе.

Кольяныч был старше меня на это знание – он уже тогда предчувствовал, догадывался, понимал, из какой скорлупы вылупится маленький симпатичный кровожадный крокодилчик

Генка Жижин, он ощущал, угадывал, что Сашка Греков полетит соколом, а Надя Тетерина станет доброй, заботливой курицей.

Кого же провидел во мне Кольяныч? Неужели он знал мою судьбу страуса – задумчиво-нескладной птицы, не способной летать?

Я умею бегать, таскать тяжести, я несравненный специалист по прятанию головы под крыло. Я только летать не могу.

Мне снятся волшебные сны о телекинезе.

Кольяныч, ты все это знал тогда?

Печальная штука – старые фотографии. Хуже бывают только вечера встреч бывших одноклассников, сокурсников. Горделивый осмотр потерь. Из лопнувшей скорлупы глядят усталые лица, отретушированные сединой и морщинами. Генка Жижин, гладкий преуспевающий прохвост, когда я встретил его недавно, снисходительно сообщил мне, что школьные юношеские дружбы склонны поддерживать в основном люди, совсем несостоявшиеся во взрослой жизни. Не знаю, может быть, он и прав – этот залитый розовым текучим жиром натурфилософ.

Наверное, я совсем несостоявшийся во взрослой жизни человек, если я пошел в поддержании школьных дружб дальше всех: я сохранил связи не со своими одноклассниками, а со старым школьным учителем. Никогда с ровесниками мне не было так легко и интересно, как с Кольянычем...

Может быть, я еще долго рассматривал бы наши зародыши в фотоскорлупках, пытаюсь разгадать, какие нити, когда-то протянутые к сердцу Кольяныча, прервались с его смертью, но вошла Галя – причесанная, подкрашенная и совершенно одетая.

– Я еду с тобой, – сказала она твердо.

– Это не нужно и неуместно, – вяло ответил я.

– Проводить хорошего человека всем уместно, – заверила она меня. – Всегда. А тебе не нужно сейчас быть одному...

Господи, как же объяснить ей понятно и необходимо, что мне всего нужнее побыть одному, что мне ничье сопереживание не требуется!

Но не смог ничего придумать – я ведь маэстро запрыгивания головы. Только что-то неубедительное стал бормотать:

– Туда почти три часа на электричке ехать... Потом еще автобусом... Тебе лучше побыть здесь... Я вернусь вечером или завтра утром...

Галя тяжело вздохнула, неодобрительно покачала головой:

– Тебе не надо туда ехать на электричке и автобусе...

– А на чем же мне ехать? На дирижабле?

– Позвони Леше Кормилицыну – он твой школьный товарищ. И у него есть машина... Или покойный тебя одного в классе учил?

Она иногда пугает меня – когда угадывает мои мысли. Но понимает их неправильно. Как объяснить ей, что Кольяныч учил нас всех, но я с ним дружил. А Лешка над ним посмеивался. И когда Галя вошла, я разглядывал фотографию Лешки и вспоминал, как Кольяныч нас вызволял из милиции. Кошмарное, недостоверное воспоминание...

На кругу у Щукинского пляжа стоял пустой трамвай. Вагоновожатый ушел отмечать маршрутный лист, а мы с Лешкой через открытую дверь кабины разглядывали рычаги и приборы управления. Глухо постукивал, дробно урчал электромотор, еще ощутимо дрожал речечный пол под ногами, тонко вызванивали стекла в опущенных рамах окон, под ручкой контроллера увядала пыльная ветка акации.

Лешка сказал:

– Трамвай – машина простая... Я умею водить...

– Врешь? – усомнился я.

– Примажем? – завелся Лешка.

Мы в ту пору спорили по любому поводу – «примазывали». Не помню, успели ли мы примазать, не знаю, хотел ли Лешка взять меня на понт, не понимаю, как это получилось, – Лешка бочком присел на высокую табуретку вожатого, с хрустом повернул какую-то ручку – и трамвай покатился. Я это даже не сразу заметил и только через несколько мгновений испуганно заорал: «Стой, Лешка, стой, мы едем!...»

Доказав мне, что умеет пускать трамвай, Лешка, к сожалению, не мог продемонстрировать технику торможения. Трамвай медленно, но неукротимо ехал вперед. Свистки, крики, перекошенное от страха и физического напряжения лицо вагоновожатой, которая бежала за уходящим от нее трамваем. Отчетливо помню ее молодое деревенское лицо, залитое потоками пота, выбившиеся из-под косынки пряди темно-русых волос.

Неподвластная нам тяжелая громада неуправляемого вагона, волочащая нас неведомо куда, – на всю жизнь сохранившееся воспоминание о собственной ничтожности и бессилии.

Вагоновожатая все-таки догнала трамвай, вскочила на ходу, затормозила гроыхающую машину, надавала нам по ушам и сдала в милицию. А Кольяныч нас оттуда потом вызволял. Не знаю, что он там говорил, как оправдывал нашу дурость, что обещал, – но нас отпустили. Он забрал нас, и в полном молчании мы поехали домой. Мы с Лешкой понуро плелись за ним следом, и вид его длинной, слегка сгорбленной спины был нам невыносим, и Лешка не выдержал, жалобно попросил:

– Вы хоть изругайте нас, Николай Иванович...

Он обернулся к нам резко и спросил:

– Изругать? А почему я должен тебя ругать? Зачем? Древней богине Иштар приписывают великую мудрость: каждый грешник должен сам отвечать за свои грехи. Вы уже оба большие парни, и не надо перекладывать на меня бремя ответа за дерзкую глупость вашего поведения...

Галя не сводила с меня требовательного взгляда, я подвинул к себе аппарат и набрал номер. Пригоршня цифр, брошенная в телефон, с тихим гудением и писком долго шныряла по проводам и внезапно обернулась в трубке быстрым, деловитым баритончиком Лешки:

– Слушаю...

– Здравствуй, Дедушка, это я, Тихонов.

– Ха! Здорово, Стас! Ты чего это спозаранку разыскался?

Судя по фотографии в белом яйце, у Лешки в детстве была копна светлых мягких волос. Но моя память этот факт не удержала – сколько его помню, Лешка всегда был лысый. Шустрый и нахальный паренек, растеряв годам к двадцати прическу, Лешка смоделировал жизнь и манеру поведения под свою лысину. Мне кажется, что еще в школе мы все звали его Дедушка. Он подтвердил свою репутацию, женившись раньше всех, родил вскоре дочку и теперь – в тридцать семь лет – имеет двух внуков. И со мной всегда говорит солидно, шутливо-снисходительно.

– Слушай, Дед, мне утром позвонили, сообщили, что Кольяныч умер. Не хочешь со мной в Рузаево поехать?

– А, черт! Жалко как старика! Ужасно не ко времени...

– Ну да, конечно... А ты слышал, чтобы люди ко времени помирали?

– Случается, – коротко бормотнул он. – А сколько годков Кольянычу было?

– Семьдесят три, – сказал я и поймал себя на том, что говорю это с легким смущением, будто почтенный возраст Кольяныча лишил его права на дополнительное сочувствие, которое вызывают люди, умершие молодыми.

– Да, жаль Кольяныча, большой души был старикан, – искренне вздохнул Лешка и неожиданно хмыкнул: – Можем только утешаться мыслью, что сами-то мы вряд ли доживем до этих лет...

– Что-то ты, Дедушка, на половине дистанции заныл? – поинтересовался я. – По-моему, ты здоров как бык...

– Ну да, здоров! Давление скачет, сердце покалывает. Врачи говорят – реальная опасность ишемической болезни. И работа заедает – сейчас тоже сию, квартальный отчет домой взял, на службе не поспеваю...

Ему, наверное, в зародыше фотояйца была не суждена мужская судьба – он прямо из мальчишки стал Дедушкой. Может быть, Коляныч это знал? Неужели Коляныч предвидел, что угнанный трамвай – последнее Лешкино озорство?

На том конце провода Лешка сострадательно чмокал губами и грустно дышал. Дедушка от души жалел Коляныча и хотел бы сделать для него что-то хорошее, например достать лекарство, проведать в больнице, привезти продуктов, но ехать старика хоронить было действительно ему слишком сложно, и я пожалел, что послушался Галя и позвонил ему.

Трамвай со Щукинского круга укатил очень далеко. Тяжелая громада жизни сильнее нашей воли, сильнее наших побуждений. Некому догнать – с перекошенным от напряжения лицом – неуправляемую колесную коробку, некому остановить бесцельное опасное движение, некому вызволить из беды и сказать: каждый отвечает за свои грехи сам.

Я слушал Лешку и раздумывал, как бы закончить легче и безболезненнее этот разговор – я ведь ни в какой мере Дедушке не судья и совершенно не собирался корить его за сгнившую добрую память.

Но Лешка сам прервал поток жалоб на плохое самочувствие и завал работы, сказав неожиданно:

– Я вот что надумал... Мне с тобой на похороны никак не вырваться... Ну пойми меня – никак не получается... Мои-то все на даче, ты ведь и меня случайно застал... Если я не приеду к ним сегодня, они там с ума посходят... Предупредить-то я никак их не могу...

– Да я не настаиваю, – перебил я его. – Что ты мне объясняешь...

– Нет-нет, ты слушай... Мы с тобой вот как поступим: я со всеми своими бебехами поеду на дачу на электричке, а тебе оставлю машину на площади у Белорусского вокзала – мы так всех зайцев уьем... И тебе там, в Рузее, на машине будет сподручней. Лады?

Удовольствие от найденного решения половодьем затопило необитаемый крошечный островок Лешкиной скорби. Он придумал себе вклад – не какие-то там бессмысленные цветочки, а полезное участие в добром деле проводов и поминовения хорошего человека.

– Дедушка, я ведь не из-за машины тебе позвонил... – слабо начал я возражать, но Лешка не дал мне захватить маленький плацдарм и окопаться.

– А вот разговоры – для бедных! – деловито и решительно забуркотел он, и его беспомощно-горестные вздохи бесследно исчезли из трубки. – Будь у меня возможность, я бы, безусловно, поехал. Надеюсь, в этом случае ты бы все равно поехал со мной, а не на электричке? Прошу тебя не выдуриваться...

Галя сказала над моей головой, словно подслушав:

– Твоя деликатность иногда становится людям невыносимо тягостной. Не мучай товарища – возьми машину...

Я махнул рукой, а Лешка уже объяснял мне, где будет стоять его «жигуленок» цвета «коррида», госномерной знак 08–98, что документы и ключи будут лежать под ковриком рядом с водительским сиденьем, а задняя левая дверь будет не заперта на стопорную кнопку, тумблер противоугонного устройства включается на правой панели под щитком... Технология передачи мне машины полностью захватила Лешку, он вырвался из невыносимой для него роли скорбящего свидетеля и стал деятельным, активным созидателем и участником ситуации.

Он догнал катящийся трамвайный вагон, заплатил за все свое сам и прощально помахивал мне ручкой с остановки – я уезжал дальше.

– Машину сможешь забрать через час, – сообщил он мне, потом затуманился тоном, осел голосом, грустно сказал: – Ты уж от нас от всех поклонись Колянычу. – Помолчал и значительно добавил: – Я теперь сам дед – многое понимаю...

У меня права профессионального водителя. А собственной машины никогда не было. Жалко, конечно. Но сейчас менять что-то поздно. Раньше я не мог купить автомобиль из-за небольшой зарплаты, дефицита на машины, самых различных семейных обстоятельств, из-за занятости на работе, а теперь как-то неуместно – мне кажется, что когда человеку под сорок, то впервые обзаводиться маленькой легковушкой как-то нелепо.

Это Кольяныч виноват. Именно он меня еще в молодости сбил с оседлой, спокойной, имущественно-накопительной жизни. Мне кажется теперь, что за всю жизнь Кольяныч не имел ни одной вещи, которую согласился бы приобрести по доброй воле хоть один человек. Как-то очень исподволь внедрил он в меня даже не мысль, а ощущение, что владеть имуществом с определенной стоимостью крайне обременительно, неинтересно и по-своему невыгодно.

У него даже книг не было – всегда он впихивал их разным людям, чуть ли не силком: «Обязательно прочитайте, вам это совершенно необходимо!» Готов голову дать на отрез, что многие испытывали, скорее, неудобство от его книгоношества, ибо ни в какой мере не ощущали необходимости прочитать мемуары виконта де Брока о Великой французской революции. Я говорил ему, что попусту пропадет интересная книжка, а Кольяныч ухмылялся, и в правом глазу его была печаль, а левый, вставной, нестерпимо ярко сиял.

– Может быть, я ошибаюсь, но домашние библиотеки мне кажутся денежными кубышками. Мало кто собирает их для работы или для приятного чтения. Гутенберг и Федоров-дьяк придумали станок, чтобы книги по рукам ходили. Иначе книги суть часть пошлого интерьера или консервы человеческого духа...

И над мебельными страстями, гарнитурными страданиями он смеялся. Это было время первого взлета массового жилого строительства, множество людей въезжали в новые квартиры, и венцом бытовых вожделений была польская или немецкая «жилая комната». На помойки выкидывали протертые, разошедшиеся, облупившиеся, прожженные сковородами и утюгами столы, кресла, буфеты – из ценного дерева, ручной резьбы, с обрывками бесценного штофа – и ввозили с гордостью и ликованием жилую низкорослую мебелишку из фанерованных стружечных плит.

А Кольяныч усмехался:

– Каждой вещи нужно только пережить критический период – переход из разряда «старых» в «старинные». После этого ее возвращают с помойки, бережно реставрируют, с почетом водружают в красный угол, ею хвастают и гордятся, платят большие деньги. В основном за то, что все остальные старые вещи не дожили до бесплодной почтенности старины. К счастью, люди не бывают старинными. Людям суждено умирать своевременно...

И машины он не любил. Он всюду ходил пешком.

А теперь я мчался на Лешкином «жигуленке» цвета «коррида» хоронить Кольяныча. Пружинисто гнулось под колесами шоссе, шипели с подсвистом баллоны, ровным баритончиком гудел мотор. На заднем сиденье дремала или делала вид, что спит, Галя. Я чувствовал исходящее от нее напряжение, я знал, что она хочет спросить меня о чем-то, поговорить или выяснить отношения, но сдерживается изо всех сил, полагая, что этот разговор сейчас не к месту и не ко времени. Но я точно знал, что от серьезного разговора мне не уйти. Только бы не сейчас, у меня сейчас нет сил с ней спорить, что-то объяснять или доказывать. Потом, хорошо бы потом.

Галя сзади сказала ясным голосом:

– Тебе надо было позаботиться – купить в Москве продуктов, на поминки понадобится... Наверняка люди соберутся...

Я обогнал колонну грузовиков, занял место в правом ряду, прибавил газу и неуверенно сказал:

– Возможно... В смысле продуктов... Наверное, надо было купить... Хотя Кольяныч наверняка не хотел, чтобы устраивали поминки... Да и я, если честно сказать, тоже...

– Почему? – удивилась Галя. – Все приличные люди устраивают...

– Это их дело. А мне не нравится...

– Объясни – я не понимаю, что плохого в том, что придут люди почтить память покойного, – спросила нетерпеливо Галя, и в голосе ее сверкнула синяя искра раздражения.

– Ничего плохого. Придут с кладбища, скажут пару тостов, хлопнут несколько рюмок, согреются – завеселеют, кто-то вполголоса анекдот травит, про делишки забормотали, а там уже и песню затянули... Противно...

– Твой неконформизм доходит до абсурда! – красиво отбрила меня Галя. – Живые остаются жить, мертвые уходят, это естественно. У живых людей жизнь ведь не останавливается...

– Ну да, конечно, не останавливается. У чужих живых людей...

– А что же, по-твоему, надо сделать? Объявить по школьному учителю всенародный траур? – с искренним удивлением спросила Галя. – Или у тебя жизнь теперь остановится?

У меня на хвосте тащился зеленый «москвич», раздражавший меня своей трусливой и нахальной ездой. Он ехал впритык к моему бамперу и каждые полминуты выкатывался налево для обгона, но, увидев встречные машины, снова юркал за мою спину – вместо того чтобы сделать решительный рывок вперед, благо дистанция до встречных машин это спокойно позволяла. Но он ерзливо шнырял по шоссе, заставляя меня опасливо коситься на него в зеркало заднего вида, поскольку я боялся, что он дернется на обгон в самое неподходящее время и от испуга вышвырнет меня на обочину. И оторваться от него я не мог – впереди меня маячил переезд, и гнать сейчас было просто глупо.

Да и мне ли кому-то пенять на недостаток решительности, на неготовность плюнуть на все и помчаться сломя голову вперед!

– Я не поняла тебя, – требовательно напомнила Галя: я ведь не ответил на ее вопрос, а это было своеобразной формой последнего слова в споре, и уж подобного Галя никак не могла допустить.

Я притормозил у железнодорожного переезда и остановил машину в конце длинной очереди, выстроившейся у шлагбаума. Выключил зажигание, и в наступившей тишине мой голос прозвучал неубедительно громко, с вызовом, противно декламационно:

– Пока человек жив, как ты правильно заметила, его жизнь не останавливается. И моя тоже не остановится. Но она сделала паузу. Перебой...

Эх, тут бы помолчать Гале, все равно уже поднялся полосатый шлагбаум, и машины осторожно, гуськом потянулись через переезд, и мы бы покатали вслед за ними, скорость, гул дороги и суeta зеленого «москвича» за мной отвлекли бы нас. Но ее уже захватил азарт спора и бессмысленная страсть сказать в любом разговоре последнее слово.

Она хмыкнула и произнесла:

– У меня возникло сразу два вопроса. Во-первых, что бы ты считал правильным сделать вместо поминок? А потом я хотела бы узнать длину, так сказать, срок этой паузы...

– Галя, ты чего хочешь от меня? Зачем ты достаешь меня? – спросил я негромко и вильнул вправо, ближе к обочине, чтобы пропустить вперед наконец рванувшегося на обгон ненормального «москвича».

– Я не достаю тебя, – сердито ответила Галя. – Я тебя люблю, собираюсь замуж. Стараюсь понять твои странные рефлексии, ты спрашиваешь меня, чего я хочу от тебя. И поэтому хотела бы услышать ответ на свои вопросы.

– Пожалуйста, – кивнул я и почувствовал, как во мне пронзительно зазвенела злость. – Я хочу, вернувшись с кладбища, не пить водку и трескать блины с селедкой, поддерживая банальный разговор об очень хорошем, хоть и странноватом человеке Коростылеве, а подняться к нему в комнату, лечь на продавленный диван, накрыться с головой и долго лежать в тишине и одиночестве и вспоминать Коляныча, его нелепые поступки, его всечеловеческую доброту, его земную честность, его невероятные выдумки, я хочу плакать о нем и смеяться до тех пор,



пока не усну, и во сне он мне приснится снова живой, и мы с ним последний раз побудем вместе. Это тебе понятно?

И вдруг в памяти снова всплыл – холодком кольнул в сердце растрепанный помехами голос Лары по телефону: «Его убили...»

А Галя медленно ответила:

– Это мне понятно. Теперь объясни насчет паузы...

И в голосе у нее было что-то неприятное, как у глупых молодых сыскарей на допросе, когда, спрашивая о чем-то, они тоном дают понять – говорить-то ты можешь что хочешь, но я ведь все равно правду знаю.

– Насчет длины паузы, Галя, я тебе ничего не смогу объяснить. Эти перебои кардиограмма не фиксирует. Они остаются с нами навсегда – как новые морщины, как свежая седина...

Она дождалась, пока машина одолела длинный тягун и надсадный рев двигателя несколько утих, тогда заметила:

– Любопытный ты человек...

– Чем это?

– Если бы я умерла, исчезла, испарилась – так, мне кажется, ты бы этого попросту не заметил. Не то что морщины и седины...

– А мне этот разговор кажется глупым, – сказал я уверенно.

– Наверное, глупый разговор, – легко согласилась Галя. – Главное в том, что потом и вспомнить нечего будет. Что ж мне-то делать?

Сжав зубы, я смотрел прямо перед собой на гибко раскручивающуюся асфальтовую ленту, а с двух сторон к дороге подступал наливающийся сочной зеленью лес, и эта зелень всех оттенков – от почти черных елок до бледно-желтой вербы – гладила глаз, успокаивала, ласкала душу. Глубоко вздохнув, я сказал Гале мирно:

– Не надо сейчас ни о чем говорить... Мы вообще много говорим... Много, значительно, красиво... В этом мало толку...

– А в чем есть толк? – спросила Галя с ожесточением и болью. – Много говорим – нет толку, молчу – ты меня охотно не замечаешь. А в разговорах с твоим учителем был толк?

– Да, был, – твердо ответил я. – Он говорил со мной бесконечно долго, много лет, пока не объяснил мне очень древнюю истину: человек – мера всех вещей...

– И поэтому ты стал милиционером? – сухо усмехнулась Галя.

– Возможно, – пожал я плечами. – Очень может быть, что я именно поэтому стал хорошим разыскником. Я ведь умею в жизни только это...

В голубовато-зеленой дали, рассеченной пополам серым полотнищем дороги, обозначилась далеко впереди черная точка, которая постепенно росла, наливалась площадью, цветом, смыслом. Пока на синем квадрате не проступили отчетливая белая надпись «Рузаево – 16 км» и острая белая указательная стрелка.

Снял ногу с акселератора, вывел на нейтраль, включил мигалку, и в шелестящей тишине раздавалось только четкое тиканье реле, будто отсчитывал своими сплошными вспышками поворотный фонарь оставшиеся мне до последней встречи с Кольянычем мгновения. Я очень боялся посмотреть на него – мертвого.

– ...Не боюсь я прихода смерти – меня огорчает окончание жизни, – сказал он в прошлый раз, как всегда, сказал печально-весело, со своей обычной непонятной усмешкой – то ли над нами смеется, то ли над собой насмехается.

Я плавно прошел поворот, включил скорость и осатанело погнал по последней прямой. Я мчался так, будто убегал от вести о смерти Кольяныча, от утомительных претензий Гали, от себя самого. Галя понимает, что она мне надоела, и, ощущая, как я с каждым днем ухожу все дальше, надеется в ближнем бою, в рукопашной схватке со мной удержать свои позиции.

Как объяснить ей бесполезность наших препирательств? Возможно, ее поведение было бы оправданно с другим человеком – есть же люди, которые сами себе могут заворачивать веки. А я не могу вытерпеть, когда мне в глаз надо капнуть из пипетки. И уж совсем не выношу, когда мне лезут руками в душу – пускай с самыми лучшими намерениями.

Никогда Галя не поверит мне, что дело даже не в ней, – я сам себе надоел. По утрам, когда я бреюсь в ванной, мне не хочется смотреть на себя. Смотрю с недоверием в зеркало и с большим трудом уговариваю себя, что этот тип, выплывающий из серебристой мути амальгамы, – это я и есть. Здравствуй, ненаглядный, давно не виделись. Тьфу!

Один мой знакомый придурок, выдающий себя за экстрасенса, утверждает, что когда я в плохом настроении, то вокруг меня черное поле. Милые глупости, прелестный таинственный лепет инфантильных взрослых людей, редко встречающихся с серьезными жизненными драмами. А я несколько перебрал их в последнее время. Может быть, я просто устал. Переутомился душевно. Положительных эмоций маловато.

А теперь умер Колянныч.

И жизнь, не спрашивая моего согласия на переговоры, выставила мне грубое требование: давай, старина, подумаем, посчитаем и прикинем – как будем жить дальше. Нет больше Колянныча, не к кому будет приехать в душевной потерянности и сердечном смятении и спросить:

– Ты на фронте убивал людей?

А зрячий его глаз был прищурен, ярко-синий стеклянный протез смотрел слепо на меня в упор, и голосом сиплым, тихим сказал он:

– Да... Эти люди пришли, чтобы уничтожить здесь все, что дорого моему сердцу... Я видел, что они вытворяли... Когда мне оторвало руку, уже в госпитале, в бреду, в горячке мне снился все время невыносимый сон: огромная серая крыса, крыса-носорог, отгрызает мне руку... И навсегда осталось впечатление, что все злобное насилие мира, его прожорливая алчность – это гигантская крыса, которую нельзя убедить, уговорить, умолить... Ее можно только убить...

Я был тогда в тоскливом оцепенении и душевной разрухе, потому что стоило мне смежить веки, как я видел косые столбы света между стропилами чердака, мелькающую в них фигуру Саидова, размытую синими тенями, и силуэт его каждые несколько секунд вспухал багровым просверком выстрела, и, когда пуля попадала в кирпичи, раздавался визгливый скрежущий треск, на лицо сыпалась мелкая красная пыль, а жестяная кровля бухала покорно и утробно, как пустое корыто. У меня оставалось всего два патрона, потому что первую пару я глупо потратил на предупредительные выстрелы вверх, хотя было ясно, что бандит и насильник Саидов, силач и каратист, не бросит пистолет и не поднимет покорно руки. И в это время пришло какое-то странное спокойствие, похожее на оцепенение: я очень отчетливо, как будто вне своего сознания, вдруг понял, что, если я промахнусь, Саидов обязательно убьет меня и снова уйдет – возможно, на годы. В последний раз, когда его этапировали в наручниках из Ростова, Саидов на вокзале, дождавшись проходящего товарняка, вдруг в невероятном прыжке сбил ногами конвоиров и со скованными руками прыгнул на площадку несущегося мимо пульмана – и ушел. Огромная жажда жизни гигантской злой крысы.

Затаился я за дымоходом, опер кисть правой руки с пистолетом на сгиб левой и замер, дожидаясь следующей перебежки Саидова, потому что знал: он побежит первым, у него нет времени ждать, пока ко мне подойдут на подмогу. И путь у него был только один – к слуховому окну, последнему у глухой стены брандмауэра.

И, прислушиваясь к стесненному дыханию Саидова, притаившегося от меня в пяти метрах, я с режущей остротой понял, что такое уже было в моей жизни, что происходящее сейчас на пятом этаже окраинного старого дома уже случилось со мной когда-то, что происходит ужасная реконструкция бушевавших в детстве игр, где мы носились по чердакам с деревянными автоматами и «убивали» друг друга пронзительными криками «пах-па», «та-тат-та», а сейчас

со мной жизнь и моя служба, мой долг и ответственность перед людьми, ничего не ведающими об этом, вдруг вернули меня в детское воспоминание, но впереди за каменным простенком не мой сосед, мальчишка-одноклассник, а убийца, зверь, истязатель, и он не станет мне кричать «пах-пах», и я навсегда убежал из прошлого, и не человек я сейчас, а только приклад к своему черному тяжелому пистолету системы «макаров».

И все, вложенное в меня долгими годами Кольянычем, все наши нескончаемые беседы бесследно истаяли – я забыл все и, кроме страстного стремления попасть в зверюгу в момент его броска, я ничего больше не чувствовал. Откуда-то с закраин памяти пришло жуткое воспоминание: грязная маленькая комнатуха, забрызганная почти до потолка кровью, съездившийся маленький труп в углу, отпечатки ладоней Саидова на стене – черно-красные жирные кляксы на блеклой клеевой покраске. Фотоснимки сброшенной с поезда женщины. Трясущиеся, словно контуженные недавним страхом свидетели нападения на сберкассау в Дегуине.

Саидов зашевелился, зашебурился в своем укрытии, и я понял, что йогская способность останавливать дыхание – это не выдумка. Я не дышал, я ждал, потому что сообразил: он подманивает меня, не станет он шуметь перед броском. Но в косом луче солнечного света, пронизанном дымящейся пылью, мелькнула тень, быстро удаляющаяся в сторону окна. Слишком быстро.

Я чуть подался вперед, но вовремя остановился – тень с хрустом рухнула на шлак. В полумраке я успел разглядеть, что это большая бельевая корзина, которую кинул перед собой Саидов в расчете на мой немедленный рывок, и тогда бы он снял меня влет. И почти сразу же с пронзительным визгом, воем, звериным ревом он выскочил из-за поперечной балки и рванулся на прорыв – на меня, через меня, по мне – к слуховому окну, к своей крысиной свободе.

Чуть взмокнувший от напряжения указательный палец, живший от меня совершенно отдельно, будто он принадлежал кому-нибудь другому – настолько я не чувствовал его, вдруг сам по себе стал плавно сгибаться, сминая упругое сопротивление спускового крючка, и выстрела я не услышал, и в первый миг не понял, почему подпрыгнул вверх Саидов, будто его ударили с размаху доской в грудь. Только в кино я видел до этого, как падают убитые. Там это все происходило долго, картинно, умирающий еще делал несколько шагов и успевал сказать что-то значительное. А Саидов умер мгновенно. Из своего странного прыжка он резко завалился головой назад и тяжело рухнул на шлак. Его пистолет отлетел далеко в сторону, но я не сразу решился подойти к нему – не верил, что этот неуловимый преступник мертв. Оседали клубы пыли, где-то внизу завывала милицейская сирена, а здесь все было тихо. Я переложил пистолет в карман, поднес руку к лицу и с испугом подумал, что вот этой самой рукой я только что убил человека. И охватила меня ужасающая тоска – страшное чувство, будто кто-то взял в ладонь твое сердце и несильно, но властно сжал его. Вся кровь вытекла из него, а новая не втекла, и полнейшая пустота поглотила, объяла беспросветная чернота, словно я провалился в бочку с варом.

Мне было тогда двадцать пять лет.

И, угадывая эту тоску и отчаяние, страх неверно угаданного призвания, Кольяныч сказал мне в тот раз:

– Сынок, ты выбрал себе судьбой войну... Эта война будет идти через века, когда о других войнах люди на земле забудут... Она всегда будет справедливой, потому что должна защитить мирного человека от зла и хитроумия плохих людей... А злые люди, к сожалению, будут жить и через века... Поэтому тебе выдали оружие...

Да, я сам выбрал себе судьбу. Но перед этим много лет подряд Кольяныч в самых разных ситуациях, по самым разным поводам и в самых разных сочетаниях примеров пояснял: мир жив и будет жить до тех пор, пока есть люди со странным призванием – один за всех...

А теперь он умер.

Нелепо называть предместье Рузаева пригородом. В городском титуле самого-то Рузаева было предостаточно самозванства, и обязан он был городским званием консервному заводу, паре текстильных фабрик и кирпичной четырехэтажной деревне в центре – с обязательным комплексом из Дома быта, Дома торговли и Дома связи.

И все-таки пригород был – остаток старого, нереконструированного Рузаева – бывшее мещанское предместье, составленное из аккуратных домишек с резными наличниками, лавочкой у ворот и густыми зарослями бузины и рябины вдоль заборов. Перед домами сидели старухи, придвинув к самой обочине жестяные ведра с букетами пышной сирени и стеклянные банки с нарциссами и первыми тюльпанами. У старух был такой отрешенный вид, и они всегда настолько высокомерно отказывались сбавить цену на свои цветы, что у меня давно возникла мысль, будто они и не хотят их продавать. Просто так сидеть днем сложа руки неприлично вроде бы, пускай думают эти странные люди в проносящихся по дороге машинах, что они присматривают за цветами. А чего за ними присматривать? Кто их тут возьмет, кому они нужны? Весь город и так тонет в клубах душно-сиреневой, густо-фиолетовой, серебристо-белой сирени.

Перед перекрестком у ярко-зеленого забора сидела бабка-горбуня с резко вырубленным лицом тотема с острова Пасхи. Настоящая Аку-Аку. Я плавно притормозил у ее ведер, чтобы не засыпать придорожной пылью, вылез из машины и нисколько не удивился, что бабка в мою сторону и глазом не повела.

– Сколько стоят ваши цветы?

– Два рубля, – величественно сообщила старуха.

– Мне много надо... – неуверенно начал я.

Бабка не спеша оборотила ко мне свой каменный лик – ее, видно, удивило, что я покупаю много цветов, направляясь в Рузаево, а не в Москву.

– А на что тебе много? – спросила она и пронзительно вперилась в меня. – На праздник едешь? На свадьбу?

– На похороны, мать...

Старуха тяжело вздохнула, и вздох будто бы размягчил ее жесткое лицо.

– Наш, рузаевский, опочил?

– Ваш... Он был много лет директором школы... Коростылев его фамилия... Может, знали?

– Издаля... Мы тут все друг друга знаем... Мои у него не учились... Раньше кончили, а внучки уже в городе в школу пошли... Каждый год летом сюда приезжали... А ноне не приедут... На море, говорят, собираются... Чудно! На море! Чем тут плохо-то?... Я вон года свои выжила, а море так и не видала...

Говоря все это, она бережно сливала из ведер воду, осторожно достала пышные охапки цветов, протянула мне:

– На, держи... А я пойду. – Потом с интересом взглянула мне в лицо: – А ты-то кем доводишься покойному? Сын?..

– Как вам сказать... Ну, вроде бы... Ученик я его...

– Да-а? – удивилась бабка и решительно тряхнула головой. – Хорошо, значит, дед жизнь прожил, коли хоть один ученик проводить явился...

– Он хорошо прожил жизнь, – заверил я. – Сколько я вам должен?

– Нисколько, – хмыкнула бабка. – Мне уж самой скоро не деньги, а цветы надобны будут. Я сел за руль, и Галя спросила:

– О чем ты с ней так долго говорил?

– О цветах... О Кольяныче... О жизни...

Галя поджала нижнюю пухлую губу и грустно пожаловалась:

– Ты готов говорить о цветах и о жизни с незнакомой дикой старухой... А со мной – не хватает терпения и времени...

Дорога помчала на взгорок – в конце улицы уже был виден дом Коляныча.

– Галя, мне кажется, что ты не хочешь говорить со мной о жизни, а хочешь заставить меня воспринимать жизнь по-своему... Может быть, происходит ошибка – ты любишь вовсе не меня, а совсем другого человека и страдаешь оттого, что я никак не становлюсь на него похожим...

– Может быть, дорогой мой... Во всяком случае, такие банальности начинают говорить перед расставанием... Дело в том, что твоя профессия идеально наложилась на твой характер, и ты превратился в одинокого волка – тебе никто не нужен...

– Разве? – искренне удивился я. – Я этого раньше как-то не замечал.

– Уж поверь мне! Беда в том, что ты людей не любишь, к каждому ты предъявляешь невыполнимые требования. И от этого мне так тяжело с тобой! Я человек открытый, я люблю людей...

Я резко затормозил машину, так, что у Гали мотнулась голова и она не смогла завершить свое гуманистическое выступление. Выключил зажигание, отворил дверцу и сказал ей:

– Я думаю, что говорить «я люблю людей» так же пошло и глупо, как заявить, что «я умный и бескорыстный человек». Люди не вырезка с грибами, и любить их – ежедневный труд души, страдание и служение им. А не кокетливая болтовня! За всю жизнь я не слышал от Коляныча ни слова о его любви к людям. Все, пошли.

У калитки стояла какая-то женщина, которая сразу сказала:

– Опоздали вы маленько – Николая Иваныча из школы хоронили... Вы прямо на кладбище поезжайте, может, поспеете до схоронения... Лариса сказала, что на поминки часа в два вернутся... А вы знаете, где кладбище?

– Знаю, спасибо...

Я повернулся к машине, и тут разнесся протяжный визг, высокий вой, гневный лай, опадающий в жалобный тонкий скулеж. Барс. Это Барс услышал и узнал мой голос.

– А где собака? – спросил я женщину.

– В доме пока заперли, – вздохнула тяжело она. – Жалко пса, прям как человек убивается... В сенях его пока оставили, а то бы на кладбище побежал... Не дело это... Как все вернутся – выпустим... А времени пройдет сколько-то, глядишь, привыкнет пес... Дети родные и те привыкают... Все привыкают... Мертвого-то не воротить...

Я взбежал по ступенькам, распахнул дверь, и Барс черным лохматым комом вывалился мне навстречу, встал на задние лапы, лизнул жарко в лицо, тяжело дыша, забил тугой метлой хвоста по струганым доскам крыльца.

– Куда вы его? – закричала женщина. – С ним Ларка и та не может справиться! Убежит он теперь...

– Некуда ему бежать, – сказал я. – Поехали со мной, Барс...

Барс улегся на заднем сиденье, свернулся клубком, засунул морду под лапы и замер. А я погнал машину обратно – через безлюдный центр, через Приречье и Маросановку – к кладбищу.

По всем статьям Барс мог бы сойти за овчарку, если бы не вялые уши и загнутый кренделем вверх хвост. Несколько лет назад этот симпатичный беспород приبلудился к Колянычу и остался навсегда. Тогда еще я спросил Коляныча, почему он раньше не держал собаки.

– Раньше не мог себе позволить, – усмехнулся он. – А теперь могу...

– Почему? – удивился я.

– А она теперь со мной на всю жизнь – до конца. Обычно люди, когда берут собаку, не задумываются над тем, что почти наверняка переживут ее. А собака – не стул, не костюм.

Вместе с ней потеряешь часть себя. А теперь все по-честному – никому не ведомо, кто из нас кого провожать будет...

Вот и вышло, как он хотел, – Барс его провожает.

Опоздали мы на похороны. Подъехали к воротам кладбища, а оттуда люди уже выходят. Много стариков, много детей в школьной форме. И множество каких-то нераспознанных мною людей в одинаковой одежде и с одинаковыми лицами – мне всегда толпа у гроба кажется неразличимой. Только старики и дети запоминаются, они ни на кого не похожи, каждый сам по себе.

Я оставил Барса в машине, и мы с Галей прошли по единственной аллейке кладбища, почти до самого конца, туда, где за невысоким забором густо разрослись осокори и вербы и далеко видна утекающая к югу река.

Холм из цветов и жестяная табличка: «Николай Иванович Коростылев, 73 лет». Пригнувшись, с сухими глазами стояла Лариса, опираясь на дебелое плечо своего Владилен, дежурно-огорченное лицо которого никак не могло скрыть бушующих в нем жизненных соков. Понурые, уставшие от неприятной и не очень понятной им печальной процедуры, ковыряли носками ботинок песок их двое мальчишек.

И незнакомая мне совсем молодая женщина в черном платье.

Владилен, истомленный ролью скорбящего родственника, откровенно обрадовался мне, замахал рукой, и в его гостеприимно приглашающих жестах было облегчение человека, получившего возможность размять затекшие конечности.

– Жалко, очень жалко старика, – сказал он мне физкультурным голосом и разумно-рассудительно добавил: – Да ведь вместо него не ляжешь...

И по тому, с каким деятельным интересом он смотрел на стоявшую за мной Галю, было ясно, что он не только сейчас не собирался лечь под жестяную табличку вместо Колянныча, но и вообще мысль о возможности собственной смерти в будущем кажется Владике совершенным абсурдом.

Лара медленно, будто спросонья, повернула к нам голову, долго смотрела на меня, словно припоминала, кто я такой, потом сделала неуверенный шаг навстречу, уткнулась мне лицом в грудь и тихо заплакала. И сквозь всхлипывания я слышал ее тихие причитания:

– Как же можно так... Он ведь в жизни мухи не обидел... Он такой добрый... Боже мой, какое зверство...

Я не мог понять, о чем она говорит. И спросить сейчас не мог. Просто обнимал за плечи и тихо гладил по спине. Охапки подаренной мне бабкой сирени упали на дорожку, и неловко переминавшийся Владик наступал своими желтыми мокасами на сочные гроздья фиолетово-синих цветов.

– Поехали, Ларочка, домой, – сказал я. – Потом поговорим...

– Да-да, Ларок, надо ехать, – готовно подхватил Владик. – Слезами тут не поможешь, а дома надо еще оглядеться, все проверить – люди ведь званы, помянуть надо отца добрым словом... А со Стасом потом поговорим, я ему сам расскажу...

Лариса молча кивнула – она всегда со всеми во всем соглашалась.

Стоявшая с ними женщина в черном вдруг резко сказала:

– Владилен Петрович, вам, наверное, действительно надо взять детей и ехать домой. А поговорить следует сейчас...

– Пожалуйста, – пожал он своими круглыми пухлыми плечами. – Не понимаю только – почему сейчас? Отца нашего никаким разговором уже не возвратишь, а дома люди званы... Надо, чтобы было все как водится у приличных людей...

– Наверное, – сказала женщина и скинула с головы черный кружевной платок. – Но скорее всего, один из этих приличных людей и загнал его сюда...

И показала пальцем на жестяную табличку «Николай Иванович Коростылев».

Владик набрал в обширную грудь воздуха, сокрушенно-громко вздохнул и возвестил присяжно-поверенно:

– Наденька, как все молодые люди, вы максималистка! Из-за одного затаившегося мерзавца не можем же мы подозревать всех людей, окружавших Николая Ивановича!..

Я молча слушал их, и в голове тонко вызванивало: «...Его убили... Он умер от инфаркта...» Но я не перебивал их и не задавал вопросов, потому что я профессионал в человеческом горе, и профессия моя начинается с терпения. Адский жар терпения выжигает всего сильнее душу, она сохнет постепенно, трескается, стареет. Но сыщик начинается не с хитрости, быстроты и храбрости. Розыск ответа на любую загадку начинается с терпения.

А Гале ненавистно всякого рода терпение. И неясность своего положения и роли. Поэтому она выступила вперед и, давая сразу понять, что она мне человек не чужой и, естественно, им, таким образом, свой, сказала мягким сострадательным голосом, не допускающим никакого отказа:

– Стасу надо объяснить, в чем дело... Мы же ничего не знаем... Стас, безусловно, сможет...

Я не дал ей договорить:

– Минуточку... Все идут домой... Галя, помоги там Ларе, чем сможешь... А мы с Надей задержимся ненадолго... Мы вас скоро догоним...

Пережив мое предложение как новое, ничем не спровоцированное оскорбление, Галя, тряхнув своими прекрасными волосами, взяла Лару под руку и повела к воротам, мальчишки побежали вперед, а Владик степенно зашагал следом. Стихали их шаги, громче голосили птицы в кронах старых деревьев, истончался, исчезал сочувственно-соболезнующий голос Гали, успокаивающий Лару ненужными словами, и почему-то эти отдельно доносившиеся слова казались мне похожими на мято-желтые пятна солнца, с трудом прорвавшиеся сквозь густую зелень, дрожащие, бесформенные, обманчиво-недостоверные, как нелепые разводы на маскахалате.

Здесь остро пахло сырой глиной и перепелой хвоей.

Я обернулся и увидел, что Надя складывает оброненные мной цветы, помятые толстыми ногами Владика, на могилу Кольяныча. Она выпрямилась, посмотрела на меня и, угадывая незаданный вопрос, сказала:

– Я вас хорошо знаю, я вас много раз видела у Коростылева. Вы меня не запомнили, я девчонкой тогда была... Вы приехали первый раз девять лет назад.

– Да, давно это было, – кивнул я. – Приблизительно лет девять-десять назад.

– Не приблизительно, а точно – девять лет назад. В июле это было...

– А почему вы это так точно запомнили? – спросил я из вежливости.

– Потому что я в вас сразу влюбилась. Мне было четырнадцать лет, и никогда до этого я не видела более интересных людей...

– Занятно, – усмехнулся я. – За прошедшие годы у вас была возможность убедиться во вздорности детских увлечений...

Она ничего не ответила, и, поскольку пауза угрожала затянуться, я быстро сказал:

– Последнее время меня преследует странное воспоминание... Я пришел в зоопарк и в клетке между вольерами пантеры и тигра увидел собаку. Обычную собаку, дворнягу. Тогда я поглазнул на нее и ушел, а теперь все чаще думаю: что делала в клетке между пантерой и тигром дворняга? Что должна была изображать в зоопарке нормальная простая собака?

Надя покачала головой:

– Не понимаю...

– Я и сам не очень понимаю, – махнул я рукой. – Я ощущаю себя собакой, попавшей по недоразумению в клетку зоопарка.

Она повернулась ко мне, и я первый раз внимательно рассмотрел ее лицо – очень тонкое, смуглое, с родинкой над переносьем, как кастовая тика у индийских женщин. Красивая девушка, ничего не скажешь...

– Удивляюсь, что я вас не запомнил, – сказал я.

– Мы в соседнем доме жили... Когда вы приезжали, я смотрела на вас через забор и подслушивала, о чем вы с Коростылевым разговаривали... Да что там! Все утекло...

Из нагрудного карманчика она вынула сложенный серый лист и протянула мне:

– Посмотрите...

Развернул лист – телеграмма. На сером бланке наклеены белые бумажные полосочки, покрытые неровными рядами печатных букв. Я попытался вчитаться в текст, но ужасный смысл слов, их злой абсурд не вмещался в сознании.

Неровные черные буковки, похожие на муравьев, елозили и мельтешили на белых дорожках бланка, прыгали и перестраивались, пока не замерли на миг – и брызнули в глаза нестерпимым ядом ужаса и боли...

РУЗАЕВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАГОРНАЯ УЛИЦА 7  
КОРОСТЫЛЕВУ НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ  
ВЧЕРА ВАША ДОЧЬ ЗЯТЬ ВНУКИ ПОГИБЛИ АВТОКАТАСТРОФЕ  
ГОРОДЕ МАМОНОВЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ТЧК ТЕЛА  
НАХОДЯТСЯ ГОРОДСКОМ МОРГЕ ТЧК ВЫЕЗЖАЙТЕ ДЛЯ  
ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ЗПТ ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА  
ПРИСКОРБИЕМ  
*ПРОНИН*

Я прочел еще раз телеграмму, и снова, и еще раз, но ощущение контуженности, полного разрыва с реальностью не проходило. Гудело в голове, слова прыгали перед глазами, как желтые солнечные блики на густой листве.

– Что это такое? – растерянно спросил я.

– Его убили этой бумажкой, – тихо сказала Надя. – Он прочел телеграмму при почтальоне и сразу потерял сознание. Успели довезти до больницы, через час умер...

– А Лариса? – задал я бессмысленный вопрос.

– Они приехали на другой день. Ни о чем не подозревая. Они на машине возвращались из отпуска...

Грустный хаос поминок. Оцепенело сидел я за столом, слушал, что говорят, внимательно смотрел на этих людей, которых никогда раньше не видел, а Кольяныч прожил с ними рядом много лет, дружил с ними, помогал, учил, и, судя по всему, они его уважали, ценили и любили.

А кто-то один взял и убил его. Зачем? Почему? За что?

В том, что этот человек сидит сейчас с нами в печальном застолье и поминает добрым словом безвременно ушедшего от нас Николая Ивановича, я не сомневался. Конечно, не тот, что несколько дней назад подал в окошечко телеграфа смертоносный бланк, уплатил полтора рубля, получил квитанцию на точный выстрел в цель за тысячу верст и исчез после этого во тьме неизвестности. Он был далеко и мне сейчас неинтересен...

– Возьмите еще блинчиков...

– Что? – обернулся я и увидел, что женщина, встречавшая меня давеча у калитки и сторожившая Барса, протягивает мне глубокую плошку с блинами.

– Блинов, говорю, возьмите еще... Вы поешьте маленько, а то стоит у вас тарелка нетронутая... А блины у нас замечательные – кружевные, тоненькие. Сейчас такие не пекут – все торопятся, некогда! Толстые да клеклые, одно слово – «бабья лень»... Вы этот блинок в сметану макните да селедочки пару кусков в него заверните – объеденье получится...

– Спасибо большое... Я потом возьму...



Нет, отправитель телеграммы мне понадобится потом. В конечном счете он только пуля, разорвавшая сердце Кольяныча. Последнее звено в сложном механизме убийства. Должен быть ствол, из которого полетела эта пуля, необходим прицел-мушка, обязательно есть курок. Кто-то из присутствующих на поминках людей – друзей, соседей, знакомых, сослуживцев – часть системы, убившей Кольяныча. В этом я был твердо уверен.

– ...Не кушаете вы ничего... – Та же женщина смотрела на меня горестно. – Покушайте чего-нить, вам силенки еще понадобятся. И выпить надо хоть стаканчик.

– Спасибо, не могу я сейчас...

– А вы через «не могу», потому что надо... Я знаю, что вам горько сейчас, уважали вы его сильно. Да и он вас любил взаимно. Я знаю, говорил он о вас часто. Я ведь соседка, к покойнику Николай Ивановичу часто ходила, последние-то годы Лара редко с Москвы наезжала, считай, бобылем он проживал. А меня Дуся зовут, слышали от него, наверное?

– Слышал, – кивнул я. Не мог я вспомнить никаких разговоров о Дусе, но огорчать ее не хотелось.

А она, обрадованная найденной между нами человеческой ниточке, продолжала ухаживать за мной.

– Вы рюмочку выпейте и закусите салом, гляньте, сало какое – в Москве такое не сыщешь, розовое, мясное, с «любовиночкой»...

Галя, сидевшая рядом с Ларисой, уже подружилась с ней на весь остаток жизни, утешала ее, опекала, обнимала за плечи, что-то шептала на ухо – видимо, учила жить. Галя выступала в своей коронной роли: помогала людям, сострадала и соучаствовала не в празднике, не в победах и успехах – это-то каждый халявщик горазд, – а протягивала свою твердую руку помощи и поддержки в беде и горе. Надежную руку, не сомневающуюся в своей необходимости. И так она была поглощена своим участием в чужой беде, что не приходило ей в голову взглянуть на Ларкино лицо – слепое, плоское, мертвое.

В комнате было очень душно. Толстый человек напротив меня достал кожаный портсигарчик и постукивал нетерпеливо по столу, не решаясь закурить здесь и не зная, удобно ли уже встать из-за стола. Удивительно было видеть на этом огромном торсе розовое детское лицо в круглых очках.

Полнокровное лицо взрослого старшеклассника туманилось выражением неуверенности, застенчивой робости, сомнением в праве на какой-нибудь самостоятельный поступок. Сквозь круглые стекляшки бифокальных очков выглядывали время от времени растерянные глаза с молчаливым вопросом, почти просьбой: вам будет не обидно, если я скажу? Я вас не побеспокою своим поступком?

Справа на него наседали, все время что-то объясняли и поучала крупная белая женщина, похожая на говорящую лошадь. Она что-то требовала от него, уговаривала, доказывала. А он вяло отбивался, я слышал его тягучий, чуть гундосый голос:

– Фатит... Екатерина Степановна... от-то... фатит... я все сам знаю... для учителя это необходимо как флэб насущный... от-то... значит... Екатерина Степановна... от-то...

Мне отмщение, и аз воздам. Я должен восстановить, реставрировать, воспроизвести смертоубийственную конструкцию. Дело в том, что я профессионал. И точно знаю, что люди руководствуются, как правило, набором достаточно стандартных побуждений и владеет ими диапазон однородных страстей. Просто в каждом отдельном преступлении они приложимы к самым разнообразным ситуациям и оттого кажутся непостижимо многоликими и загадочными.

Для меня всегда самое трудное, самое важное – понять, ЗАЧЕМ это сделано. А точное понимание цели преступления позволяет представить технологию, его образующие элементы.

И определяет выбор моих средств, поскольку бульдозер не свинтишь отверткой для часов, а компьютер не разбирают газовым ключом.

Тот, кто сладил самострел на Кольяныча, наверняка должен быть здесь. Человек тридцать скорбящих, горюющих, соболезнающих гостей. Один из них – неискренне. И все – мне незнакомы.

Крупная белая женщина оставила своего толстяка, встала с рюмкой в руке:

– Дорогие товарищи! С болью в сердце и в голове мы узнали о кончине нашего дорогого Николая Ивановича Коростылева. Мне выпало большое счастье работать в школе, которой когда-то руководил ушедший от нас Николай Иваныч, работать под его началом и руководством, а потом, когда он по состоянию здоровья перешел только на преподавательскую работу, быть завучем в этой школе и пользоваться его поддержкой, дружескими советами, использовать его богатейший опыт...

Я быстро оглядел сидевших за столом: многие смотрели прямо перед собой или куда-то в сторону, рассеянно ковыряли вилкой в тарелке, и повисло между ними какое-то странное отчуждение, словно к ним обращался не живой человек в застолье, а слушали они официальную трансляцию по телевизору. Но сидели все тихо, оставляя мне решить самому – уважение ли это к памяти покойного или дисциплинарный авторитет завуча.

– Сейчас, когда мы все нацелены на успешную реализацию школьной реформы, нам особенно важно освоить опыт и наследие Коростылева, – продолжала говорить в своем стеклянном отчуждении завуч.

Толстяк напротив беспомощно теребил свою кожаную папиросницу. Я перевел взгляд направо – у двери в торце стола Надя смотрела на Екатерину Степановну с нескрываемой ненавистью.

– Выпьем за светлую память Николая Иваныча и поклянемся свято пронести через жизнь его педагогические и жизненные заветы...

Не глядя на завуча, все выпили, а я, не дожидаясь, пока встанет следующий с тостом, сказал толстяку:

– Идемте на воздух, перекурим по одной...

Он растерянно заметался глазами, несмело покосился на говорящую лошадь-завуча, потом робко оценил меня взглядом – могу ли я ему разрешить встать, и я, не давая Екатерине Степановне одернуть его, твердо сказал:

– Идите, идите, можно...

Толстяк выросал из-за стола, как вулкан из моря, – аморфно и поднебесно. В нем была добрая сажень. Деликатно топчась, он продвигался к выходу, стараясь спиной показать, что он никому не мешает, что он только на минутку, чтобы никто по возможности не обращал на него внимания. Правда, не заметить эту спину было нельзя, это была не спина – огромный спинальный отдел.

Мы выползли из дома. Здесь бушевал ярко окрашенный, звонко озвученный день – конец весны, начало лета. Я вспомнил, как Кольяныч говорил: не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение. А сегодня погода замечательная, да настроение больно скверное.

На улице неподалеку от дома стояли несколько парней и девушек. Их красные мопеды «ява» валялись на траве притомившимися коньками-горбунками. Хрипло и мелодично орал магнитофон. Жизнь продолжалась.

Жадно затянувшись папиросой, толстяк сказал:

– От-то, значит, молодежь современная коровам фосты крутить не хочет...

И я не понял, радуется он или огорчается тем, что молодежь не хочет крутить коровам «фосты». Громадный дядька с детским лицом и детской нетвердостью звуков.

– Давайте знакомиться, – сказал он застенчиво. – Нам все равно надо будет разговаривать. Я директор школы, меня зовут Оюшминальд Андреевич Бутов...

– Как-как? – переспросил я.

– Да, имя у меня глуповатое – я родился во время челюскинской эпопеи, а тогда мода была на сокращения всякие, – говорил он, рдея всей кожей, я боялся, что от смущения вспыхнут его редкие белокурые волосы. – Оюшминальд значит «Отто Юльевич Шмидт на льдине»... Меня друзья зовут Юшей...

Я пожал ему руку и удивился вялости его ладони – большая, холодная и влажная, как остывший компресс. Мы уселись на скамейку, и я смотрел, как он с жадностью курит. С конца папиросы вился слоистый прозрачный синий дымок, а из сложенных бантиком губ выпускал Бутов темно-серую густую струю, и своей бело-розовой огромностью, иллюминаторами очков, поднимающимися дымами был он похож на отдыхающий у пристани пароход.

Поглядывая на веселящихся за забором молодых людей, Бутов печально усмехнулся:

– Сколько насмешек, сколько страданий я вытерпел в молодости из-за своего нелепого имени... Сейчас смешно, а тогда было больно...

У него во рту было много языка, и слова получались нечеткими, кашеобразными, еще сильнее увеличивали впечатление, что он огромный пятидесятилетний ребенок. Мне было легко представить его в штанишках-гольффиках, с бантом на шее.

– А что ж вы терпели? – спросил я для поддержания разговора. – Сменили бы имя через загс – и конец страданиям...

Он робко выглянул из-за кругляшей иллюминаторов:

– Вы думаете? Может быть... Но мне кажется – это неудобно. Неловко как-то... от-то... В этом было бы определенное моральное самоуправство...

– А в чем самоуправство? – искренне удивился я.

– Не знаю, от-то, может быть, я не прав, от-то, но мне думается, что в имени каждого человека, от-то, есть связь поколений, так сказать, продолжение семейной традиции, от-то, знак родительской надежды в судьбе их детей... От-то... В странных сейчас именах, которые давали моему поколению, был высокий, иногда необоснованный идеализм, пафос героической эпохи, в которую жили и умерли наши родители... От-то...

– Может быть, – осторожно согласился я и поблагодарил в душе родителей, что они не назвали меня, как моего одноклассника Рысакова, производственно-экономическим именем Индустрий.

– А вообще-то, дело не во вкусах наших родителей, а в нас самих, – махнул рукой Бутов. – Мое имя никого не сместило бы, коли я высадился бы на самом деле на льды Северного полюса или полетел в космос. Имя становится смешным, когда оно не соответствует владельцу... От-то...

– А мне сдается, что вы заняты делом вполне героическим...

Бутов тяжело вздохнул:

– Дело-то наверняка героическое и очень высокое... От-то... Вот боюсь только, что я не на уровне своего дела...

Я серьезно спросил его:

– Вы разве считаете себя неквалифицированным специалистом?

– Как вам сказать... Не могу я руководить людьми... От-то... Не умею... Все надеялся, что привыкну... Я ведь и раньше просил, чтобы оставили мне часы по математике, и дело с концом, не директор я... Просил, чтобы Екатерину Степановну назначили... От-то... А теперь эта ужасная история с Николаем Ивановичем... Ведь не скроешь от людей, от чего умер он... Представляете, какие это будет иметь последствия для коллектива – разговоры, пересуды, подозрения... От-то... Подумать страшно...

– Я вас не понял, – отсек я его от сетований. – А почему надо скрывать от людей? По моему, все должны знать об этом!

– Зачем? – ужаснулся он. – Если бы можно было найти и как-то наказать злодея, то это, возможно, имело бы какой-то воспитательный смысл... А так? Вы-то уедете, а как я буду умиротворять все эти страсти?

Я помолчал, поковырял прутиком в песке, потом спросил его:

– Почему вы решили, что этого злодея нельзя найти?

– Потому что никто не может понять, что это такое – месть, желание досадить, напугать, или это был просто хулиганский розыгрыш дурацкого шутника-мерзавца. Как это понять? Кого искать? Где?

– Вот весь круг намеченных вами вопросов и надо выяснить...

– Кто это может сделать? Я? Екатерина Степановна?

Судя по всему, завуч Екатерина Степановна была его нереализованной в жизни героической сущностью – опорой, советчицей, руководительницей.

– Вы в милицию уже обратились? – спросил я.

– Да, конечно, я сразу позвонил. Начальника городского управления нет, я говорил с Зацаренным... Он заместитель по розыскным делам, интеллигент, милый человек, я его хорошо знаю... От-то. Он говорит, что это казусный случай, мол, невзирая на сложность отыскания виновного – это якобы практически маловероятно, но и пойманного очень трудно будет привлечь к суду... Зацаренный говорит, что нет в кодексе соответствующей статьи...

– Есть такая статья, – заверил я Бутова, встал со скамейки и сообщил: – Значит, ситуация обстоит следующим образом: я отсюда не уеду, пока не отыщу этого мерзавца. И честно говорю, меня ваши беспокойства мало трогают. Я уверен, что, не выставив на всеобщее обозрение затаившегося подлеца, не представив на человеческий суд убийцу, мы с вами дальше жить не имеем права. Во всяком случае, нам нашим профессиональным делом не следует заниматься, если этот ползучий гад останется безнаказанным...

– Я был бы счастлив вам помочь... От-то... Всем, чем смогу... хотя не представляю, как вам это удастся, – потерянно моргал Бутов.

– Это не ваша забота... Мне нужно только, чтобы вы прояснили обстановку в педагогическом коллективе. И прошу от вас полной искренности, прошу вас помнить, что я не проверочная комиссия, мне нужна только правда...

– У меня нет оснований быть с вами неискренним, – обиженно забормотал, зажевал во рту свою нескончаемую кашу Бутов. – Я всегда говорю только правду.

– Не сомневаюсь в этом нисколько. Но одной правды мне мало, мне нужен вдумчивый анализ математика и душевное страдание однополчанина...

– Вы думаете, мне не жаль Коростылева? – жалобно спросил Бутов, и в голосе его звучала детская обида. – Я просто опасаюсь, что расследование может иметь кумулятивный эффект: если вы не найдете преступника, то он, убив своей телеграммой Коростылева, достигнет еще одного ужасного результата...

– А именно?

Он протянул ко мне руки, короткопалые беззащитные лапы тюленя, а на лице его была мука.

– Ведь школа – это большой коллектив, естественно, не обходится без разногласий, недоумений, конфликтов. И, получив официальную огласку, смерть Коростылева станет поводом для ужасных расспросов, проверок, выяснений. Вражда и подозрения, сплетни и оговоры уничтожают все доброе... А школа наша была много лет гордостью района, одной из лучших в области...

– Вы не бойтесь огласки, – сказал я ему зло. – Сейчас не об этом надо думать! Если вас послушать, надо сейчас нам всем выпить по рюмке за помин души Коростылева, завтра вывесить в актовом зале его портрет и позабыть о нем навсегда...

– Почему же позабыть?.. – неуверенно возмутился Бутов, но я не дал ему договорить:

– Потому что Коростылев часто повторял: поощрять зло безнаказанностью так же преступно, как творить его, ибо ненаказанное зло ощущает себя добродетелью... И моя задача состоит как раз в том, чтобы не дать испугу, возмущению и опасениям людей превратиться в злобный хаос всеобщего подогревания. Должен вас огорчить сообщением, что в здоровом организме вашей школы или каких-то связанных с ней отношений возник где-то гнойный нарыв, и никакими примочками его не рассосать – его надо найти и вскрыть...

– Я бы это только приветствовал, – смиренно сказал Юша. – Боюсь, что вы неправильно оцениваете мои мотивы. Я, честное слово, не опасаясь каких-то организационных последствий и выводов начальства. Я о коллективе думаю, об учащихся...

– Будем вместе думать, – твердо заверил его я. – В том русле, которое я вам предлагаю...

Очень расплывчатый абрис ситуации начал выплывать из мглы неизвестности – мне надо парализовать влияние завуча Екатерины Степановны. Благо, это не очень трудно, поскольку Бутов относился к той части людей, что охотно перекладывают ответственность на более горластого и напористого. Думаю, что завучу меня покамест не перегорланить. Это у нее с Бутовым хорошо получалось. Его ведь не случайно друзья называют Юшей – огромный славный толстячок в коротковатых брюках и тесном на животе пиджаке.

– Как фамилия Екатерины Степановны?

– Вихоть. Ее фамилия Вихоть. А что такое? – озадачился Бутов.

– Я хотел спросить вас: почему у нее были недоброжелательные отношения с Коростылевым? – сделал я «закидку».

– Что вы! Что вы! Помилуй Бог! Как можно так говорить! Конечно, у них возникали разногласия, но разве можно назвать отношение Екатерины Степановны недоброжелательным? Она очень уважала Коростылева, уверяю вас!

– А он ее?

– Что? – испуганно посмотрел на меня сквозь круглые окошки Бутов.

– Николай Иванович уважал Вихоть? Дружил с ней? Считался?

– На такие вопросы трудно ответить однозначно... от-то... Жизнь ставит нас в сложные положения... Иногда возникают недопонимания... Вот видите, вам уже наговорили с три короба...

Ему и в голову не приходило, что я еще ни с кем словом не перемолвился. И не в хваленной следовательской интуиции дело. Просто я хорошо знал Коляныча и легко мог представить, как на него действовало трибунное велеречие завуча. Она должна говорить так всегда – на поминках, на свадьбе, на педсовете. А кроме того, несколько минут назад я наблюдал прозрачное и в то же время непроницаемое отчуждение, возникшее вокруг Вихоть, когда она говорила поминальное слово.

– Так в каком положении возникло недопонимание между Коростылевым и Вихоть? – настырно сворачивал я Бутова на тернистый путь однозначных ответов.

– Они очень разные люди... На многое смотрели по-разному... И конечно, надо считаться... от-то... что Вихоть женщина, она была иногда мнительна, обидчива, ей казалось, что Николай Иваныч чем-то подрывает ее авторитет... От-то... Хотя я с ней не соглашался...

– Конкретно. Поясните конкретным случаем.

– Как вам сказать, от-то... Они оба словесники, литературу и язык преподают, программа одинаковая, а подход, методика разные... Екатерина Степановна строже, требовательнее, и процент успеваемости у нее выше... Был случай, когда восьмой «А» потребовал, чтобы Вихоть заменили на Коростылева... Но я, хоть убейте меня, не могу взять в толк, какое отношение имеют ваши вопросы к этой проклятой телеграмме? Вы же, надеюсь, никак не связываете...

– Ни в какой мере не связываю. Но мне надо знать все...

Из дома вышла на крыльцо Галя, помахала мне рукой и сказала Бутову:

– Оюшминальд Андреич, вас зовет за стол Екатерина Степановна. Она говорит, что неудобно, вам надо быть там...

Галя молодец, уже со всеми знакома, со всеми есть отношения, она любит людей и уверена, что это взаимно.

Бутов с неожиданной легкостью встал, жадно затянулся пару раз, и поднявшиеся над ним клубы дыма ясно показали, что пароход готов отчалить от пристани, только что наведенные сходни разговора, слабые швартовы вопросов и ответов разорвутся и рухнут в воду молчания.

Он мечтал уйти от меня и неприятных вопросов, но решиться не мог, не получив моего разрешения, отпущения, успокоения.

– Нам надо будет договорить, Оюшминальд Андреич, я вас завтра навещу... – пообещал я.

– Хорошо, я буду ждать, – тяжело вздохнул Бутов и затопал по ступенькам.

– А ты? – спросила Галя.

– Я приду через час. – И направился к калитке.

Повернул ключ в замке зажигания, и жигулиный мотор услужливо и готовно рокотнул, его металлическое четырехцилиндровое сердце рвалось в дорогу. Но я обманывал его – путь нам предстоял совсем не далекий. Полтора километра – до Дома связи. Я не хотел терять времени – фосфорические зеленовато-голубые стрелки автомобильных часов показывали четыре, а красная секундная, суетливая, тоненько-злая, спазматическая рвалась по кругу циферблата, неостановимо стачивая с дня стружку умчавшихся минут.

Выехал на асфальтовую дорожку, перешел на прямую передачу и покатил тихонько, почти бесшумно с косогора вниз – к центру Рузаева. Много раз доводилось мне отсюда уезжать, уходить, и почти всегда мне было грустно – не хотелось расставаться с Кольянычем. А теперь переполняло меня чувство холодной целеустремленной ярости и злой тоски, потому что знал: уйду навсегда. Еще сегодня и завтра, может быть, через неделю я вернусь сюда, но сейчас я уходил от Кольяныча навсегда, потому что, отправляясь на поиски его убийцы, я затапывал насовсем свой собственный след к этому дому, к своему прошлому, к самому себе.

Мрачная ненависть к убийце была сейчас во мне больше любви к Кольянычу, и от этого мне было трудно дышать, и я сам себе был противен.

Но свое дело я доведу до конца.

Неспешно плыла моя машинка по пологому спуску в субботне-беззаботный отдыхающий городок. Густо зеленый, дымящийся клубами сирени и уже пахнувший подступающим летом – пылью, нагретым деревом, слабым бензиновым выхлопом. Из окон домов доносились шквалы криков и быстрый тенорок футбольного комментатора. Около пивной бочки толпилась компания любителей стоячего отдыха. На площадке перед кинотеатром плясали «Барыню». Из дверей универмага вилась очередь, – видимо, к концу месяца выкинули в продажу дефицит. Жизнь продолжалась нормально.

На стоянке в центре площади с трудом нашел место – грузовики и автобусы из окрестных деревень, легковушки, мотоциклы с колясками. Субботний выезд в райцентр.

А в мраморно-стеклянных палатах Дома связи было пусто. Ощущалось, что провинциальные амбиции строителей дома явно возносились в неоглядное будущее над реальными потребностями рузаевцев в средствах связи. За окошком с надписью «Междугородный телефон» сидела женщина с вязанием в руках. Желтоватое лицо с крошечными бисеринками пота на висках. Я просунул голову в овальный вырез и увидел, что вязание лежит на покатоном выпуклом своде живота. Судя по животу и недовязанным ползункам, телефонистке оставалось до декрета несколько дней.

– Здравствуйте, дорогая будущая мама, – улыбнулся я, стараясь изо всех сил ей понравиться, – от ее доброхотности и проворства сегодняшней ночью зависело многое. – Я старший оперуполномоченный Московского уголовного розыска Тихонов...

И протянул ей удостоверение. Она положила его на стол, механически взяла ручку, с удивлением и интересом внимательно прочитала его, и я остался доволен, что она не сделала в нем ручкой пометок и прочерков, как это делают на телеграфных бланках.

– Здравствуйте, товарищ майор, – сказала она, и в глазах ее загорелось любопытство.

– Как вас зовут?

– Аня, – подумала и добавила: – Аня Веретенникова. А что?

– Анечка, мне сегодня понадобится ваша помощь. Вы до каких дежурите?

– Сутки. До завтра, до девяти. А вам куда звонить?

– В Москву. И еще неведомо куда...

– Так в Москву можно из автомата позвонить! Опустите пятиалтынный и говорите себе на здоровье... – Она улыбнулась. – А есть ли автоматическая связь с «неведомо куда» – не знаю...

– Мне автомат не подходит – я буду звонить в Москву, а мне будут отзванивать сюда. Вы знали бывшего директора школы Коростылева?

– Да, – кивнула Аня, и лицо ее затуманилось. – Его у нас все знают. Он умер на днях... Я до восьмого класса у него училась... Хороший человек...

Мне не было никакого резона секретничать с Аней – все равно связь пойдет через нее, если захочет, то и так все услышит. Да и нечего мне утаивать. Тут и без меня темноты хватает.

– Анечка, к сожалению, Николай Иванович не просто умер, а то, что случилось с ним, скорее напоминает убийство. Вы слышали о телеграмме?

– Да, что-то слышала – телеграмма какая-то поддельная пришла. Шулякова, из отдела доставки, рассказывала...

– В том-то и дело, что телеграмма настоящая, только послал ее человек поддельный. По виду, наверное, обычный человек, а на самом деле – вурдалак...

– А чем я могу вам помочь?

– Сейчас я передам в Москву запрос, а потом мне будут звонить. Пока я не знаю, где я буду находиться, но я вам буду регулярно отзванивать и сообщать номер, где я есть, и вы меня будете соединять с Москвой. Сделаете?

– Конечно!

– Тогда начнем. Мне нужна дежурная часть Московского уголовного розыска.

Аня набирала диск на коммутаторе, что-то говорила своей коллеге в Москве, и лицо у нее уже было не беременно-расслабленное, а сосредоточенное, даже чуть сердитое, а вязание лежало далеко в стороне на приставном столике, и висевшая на шее телефонная гарнитура – наушники и микрофон – делала ее похожей на пилота, совершающего трудную посадку.

– Идите в первую кабину...

Открыл тяжелую, плотную дверь, вспыхнул свет в тесной деревянной капсуле, снял трубку с плоского аппарата без номеронабирателя и услышал знакомый глухой голос:

– Ответственный дежурный Коновалов слушает...

– Привет, Серега... Это Тихонов тебя достает...

– Что это тебе неймется в субботу? Ты как в Рузаеве оказался?..

– На похороны приехал... Тут история произошла вполне противная, мне нужна твоя помощь...

Я объяснял ему историю с телеграммой, а Коновалов где-то далеко, за сотню верст, сосредоточенно пытался в трубку, не перебивал меня, вопросов праздных не задавал, но я знал, что он не просто внимательно слушает, а по укоренившейся за долгие годы привычке наверняка делает пометки на чистом листе бумаги остро отточенным карандашом. «Самая лучшая память

– на бумажечке накалякана», – любил он повторять нам, когда мы удивлялись, что он никогда и ничего не забывает.

– Понятно, – медленно сказал Коновалов. – А Коростылев этот сродственником тебе доводится?

– Ну, наверное, считай что сродственник. Сроднились мы с ним за целую жизнь...

– Все ясно. – И я представил себе, как он отчеркнул жирной линией свои закорючки на листе и приготовился по пунктам записывать задание.

– Серега, надо срочно дозвониться в Мамоново, в городское управление, если понадобится – продублируй запрос в область, в Воронеж. Ты записал исходящие телеграммы? – на всякий случай переспросил я.

– Конечно...

– Пусть сегодня же опросят телеграфисток – всех, кто мог быть на почте во время подачи телеграммы, – кто такой Пронин?..

– Пронина-то никакого нет – фамилия взята от фонаря, – перебил Коновалов.

– Не сомневаюсь. Но телеграмма необычная – его должны были запомнить, почтари его смогут довольно подробно описать. Затем надо взять на телеграфе исходящий журнал, посмотреть, кто отправлял сообщения перед Прониным и вслед за ним...

– И что? – раздумчиво спросил Коновалов. – Что дает?

– Мамоново – маленький городок, многие знают друг друга. Соседи Пронина в очереди могли запомнить какие-то важные детали. По ним можно будет легче его раскупорить. Понимаешь?

– Усек, – хмыкнул Коновалов. – Чувствую, что ты на воскресные дни мамоновским сыскарям подкинул работенку невялую...

– Да, Серега, я это знаю. И тебя, друг, прошу – вломись в это дело, как ты умеешь. Я тебе не могу и не хочу ничего объяснять по телефону, но если этот гнусняк от нас улизнет, ставь на мне крест...

И вдруг совершенно неожиданно почувствовал, что по лицу у меня текут слезы и голос предательски сел, тугой ком заткнул глотку.

– Алё, алё, Стас, ты чего там? Алё! – заорал в трубку Коновалов. – Ты что тараканишь? Алё! Стас! Что с тобой? Может, кого из наших ребят к тебе подослать?

Я несколько раз глубоко вздохнул, с трудом продышался и твердо сказал:

– Серега, со мной полный порядок. Никого присылать не надо, глупости это. Я здесь все сам сделаю. Ты будешь держать связь с местной телефонисткой, ее зовут Аня Веретенникова, она меня легко разыщет... Договорились?

– Есть, все будет в норме...

Вышел из будки, из спертой духоты с надсадным запахом пыли и пота, и не мог несколько мгновений собраться с мыслями, отрешенно глядя на телефонистку, пока Аня не сказала мне мягко:

– Вы не волнуйтесь, я вас мигом соединю, как только позвонят...

– Спасибо, Аня, я вам буду регулярно звонить. Вот вместе с вами мы раскрутим эту историю...

– Ну да, конечно, я ведь старый Шерлок Холмс, – усмехнулась Аня. – Да и вы на милиционера не похожи. Вы на артиста Филатова похожи, только ростом подлинней...

Я подумал, что она моложе меня лет на пятнадцать, но говорила она со мной не как молодая женщина, она не «ухаживалась», она говорила с ласковой снисходительностью матери, для которой все эти игры давно позади, хоть и симпатичны, но неинтересны – она вязала ползунки, и на лице ее желтели пятна будущих иных, нестерпимо тяжелых и высоких забот.

– Аня, где у вас городская милиция?

– А вон наискосок, через площадь дом двухэтажный, там вход с переулка.



– Анечка, я вам звоню через час...

С автостоянки постепенно разъезжались машины, урчали, готовясь в путь, автобусы, из-под брезентового фургона с надписью «Люди» разносилась по площади развеселая гармошка, нестройное пение, ключья частушечных выкриков. Сумки, пакеты, авоськи с апельсинами.

Я пересек площадь и вошел в зеленый палисадник перед старым домом с красной стеклянной табличкой «Управление внутренних дел». На деревянном крыльчике сидел милиционер и строгал ножом чурку.

– Я бы хотел поговорить с Зацаренным, – сказал я, поздоровавшись.

– А он у себя сейчас. Шестая комната – пройдете мимо дежурной части, налево по коридору...

Из-за приоткрытой двери раздавался громкий голос:

– Нет, нет, Семен Петрович, вы это не понимаете... У нас для этого нет возможностей... Да что страда – в милиции всегда страда...

Слова были круглые, отчетливые, точно разделенные между собой, – цепочкой воздушных пузырей вылетали они из кабинета в сонную тишину пустого коридора и гулко лопались в неподвижном сумраке вокруг меня.

Я постучал и вошел в комнату, не дожидаясь ответа, – за столом разговаривал по телефону молодой капитан, и я удивился, что у такого юного блондинчика столь ярко выраженный командирский голос.

Он показал мне рукой на стул и зычно сказал в трубку:

– Нет, Семен Петрович, не могу, и не просите... Вы это не понимаете... На заметку возьмем обязательно, а практически пока обойдемся разговорами...

Я подумал, что от его голоса в телефонных проводах должно подскакивать напряжение. Юша Бутов сказал о нем – интеллигентный – милый человек, заместитель по розыскным делам Зацаренный.

Он бросил на рычаг трубку и поднял на меня голубые навывкате глаза:

– Слушаю вас... – И слова, как детские шарики, один длинный, а второй круглый, гулко ухнули надо мной.

– Моя фамилия Тихонов, я приехал из Москвы на похороны Николая Ивановича Коростылева и вот решил зайти к вам...

– Да, да, да, – закивал огорченно Зацаренный, – я в курсе дела. Очень печальная история. Уважаемый был человек. Только не знаю, чем мы вам можем быть полезны...

– Вы знаете о телеграмме, которую прислали Коростылеву?

Зацаренный на миг задумался, будто вспоминал, о какой телеграмме идет речь, потом сказал неопределенно:

– Да, я слышал об этой истории... Очень жаль, что такое еще случается в нашей жизни...

– А кроме человеческого сожаления по поводу таких прискорбных фактов, у вас нет каких-либо еще побуждений? – спросил я.

– Не понял? – шумно удивился Зацаренный. – Что вы имеете в виду?

– Я имел бы в виду возбудить дело, например... Провести тщательное расследование, попробовать разыскать автора телеграммы...

Голубые выкаченные глаза Зацаренного полыхнули грустной усмешкой профессионала, обывкшегося с человеческими горестями и умеющего отделить естественные эмоциональные всплески от разумно-прозаических условий жизни.

– Я вас понимаю, товарищ Тихонов, вашему горю сочувствую... Вы, видимо, близкий человек покойному?

– Близкий, – кивнул я. – Думаю, что был близкий...

– И мне понятно ваше справедливое желание наказать этого дурака, пославшего телеграмму... Но к сожалению, это не в наших силах.

Органное рокотание голоса Зацаренного меня подавляло. Я робко спросил:

– Отчего же?

– Оттого, что смерть учителя Коростылева – я имею в виду общественный смысл – скорее напоминает несчастный случай, последствие стихийного бедствия, чем результат преступления...

– Очень интересная точка зрения, – заметил я.

– Боюсь, что нам надо признать этого неизвестного дурацкого хулигана чем-то подобным случайному удару молнии или упавшему с крыши на голову кирпичу, – развел руками Зацаренный, доверительно наклонился ко мне, и узкий луч заходящего в окне солнца ярко вспыхнул в голубой эмали университетского ромбика на правой стороне его мундира.

– Хочу обратить ваше внимание, – сказал я, – что ни молния, ни рухнувший кирпич не обладают злой волей. Иначе говоря, умыслом...

– В том-то и дело, – вздохнул Зацаренный. – Вы не понимаете, что с точки зрения закона мы никогда не сможем доказать наличие умысла на убийство Коростылева у человека, отправившего телеграмму. Даже если допустить, что мы его найдем, – а это весьма маловероятно. Но и в этом случае он скажет нам, что просто хотел пошутить. Что с него, дурака, возьмешь? Никогда такое дело через суд не пролезет, вернут его нам или прекратят совсем. А то, глядишь, и оправдают этого кретина. А нам в отчетность – брак!

– Бойтесь отчетность испортить?

– Не боюсь! – отрубил Зацаренный. – А не хочу! Хорошая отчетность с точки зрения демагогов – забота службистов, карьеристов и бюрократов. А на самом деле хорошая отчетность – это зеркало нашей работы. И цифры в отчетности – отражение нашей жизни. Поэтому я и борюсь за хорошие цифры. У меня на сегодня три кражи не раскрыты и один грабеж, вчера в общежитии строителей драка приключилась – виноватых нет, сейчас на повестке дня непримиримый бой самогонщикам и алкоголикам. Вот это все – реальные преступления, по которым я должен отчитаться. И за эту отчетность я болею и, как вы говорите, портить ее не хочу...

Я видел, что он устал от разговора со мной. А может быть, просто устал за день. Сегодня суббота, а он на месте. Вообще говорить таким гулким, утробным голосом – это само по себе утомительная работа вроде целнодневного раздувания мехов. Да я и не хотел заводиться.

– Мне приятно, что вы переживаете из-за нераскрытых краж и грабежа, – сказал я. – Но непонятно, почему вы решили заранее, что телеграмму учинил дурак, кретин или глупый хулиган. А может быть, злодей?

Зацаренный с досадой пожал плечами:

– Я вам уже объяснял, что существует понятие юридической процессуальной бесперспективности. Закон предусматривает такие случаи. – Он с досадой ткнул в стопку книг на столе. – Статья сто восьмая Уголовно-процессуального кодекса гласит: «Дело может быть возбуждено только в тех случаях, когда имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления». Недвусмысленно ясно! Это закон!

– А мне неясно, – спокойно ответил я. – В научном комментарии к статье сто восьмой сказано, что для возбуждения уголовного дела достаточно данных, свидетельствующих о наличии преступного события, хотя бы они и не содержали указания на конкретного виновника. Мне не изменяет память?

Зацаренный растерянно помолчал, потом впери в меня свои голубые буркатые глаза:

– Вы что – тоже юрист?

– Я тоже юрист. Я ваш коллега, старший оперуполномоченный МУРа...

Зацаренный засмеялся и спросил:

– Что же вы, коллега, цитируете комментарий со второго пункта? Там ведь, если помните, есть пункт первый. И подтверждает он мою правоту...

– Это почему же?

– Потому что там сказано: «Данные, свидетельствующие лишь об антиобщественных, но уголовно ненаказуемых поступках, не могут считаться основанием для возбуждения уголовного дела». Вот так...

Я слушал Зацаренного и все больше убеждался: его голос так могуч и убедителен потому, что возникает не как у нас всех – в маленькой гортани, а формируется мощным желудочно-кишечным трактом, где-то там глубоко, в неведомых словоносных недрах рождается эта звуковая стихия. Его речь была не похожа на мое жалобное колебание воздуха, это было не исчезающее дрожание эфира – это звучал величественный Логос, имеющий массу и объем.

– Мне кажется, мы не можем договориться потому, что вы заранее твердо уверены, будто автор телеграммы – просто злой глупец, совершивший аморальный антиобщественный поступок...

– А вы твердо уверены, – перебил меня Зацаренный, – что это злой демон, спланировавший умышленное убийство почтово-телеграфным методом...

– Нет, я в этом не уверен, – покачал я головой. – Но считаю при нынешних-то трагических и в то же время достаточно таинственных обстоятельствах всякое предварительное теоретизирование неуместным. Я бы хотел, чтобы следствие дало ясный и недвусмысленный ответ: кто он, человек, отправивший телеграмму? И зачем он это сделал? Или почему он это сделал...

– Да, я с вами согласен, – вздохнул Зацаренный. – Но мы же с вами практики, реалисты и знаем, что раскрутить подобную глупость в сто раз труднее, чем любое хитроумное, изощренное убийство...

– Опять двадцать пять! Мы с вами не знаем – глупость это или изощренное убийство...

– Хорошо, хорошо! Я с вами не спорю, – замахал энергичными ручками, загрохотал надо мной Зацаренный. – Я хочу вам задать товарищеский коллегиальный вопрос. Вот вы – работник МУРа, можно сказать образцовой, лучшей розыскной службы. Представьте, что к вам обратились с подобным материалом. Вы бы настаивали на возбуждении уголовного дела? С перспективой вечной нераскрываемой «висячки»?

Экий паршивец! Он поставил меня в невыносимую позицию демонстрации своей добродетели. Но у меня нет возможности кокетничать и жеманиться. И я твердо ответил:

– Я лично – возбудил бы. Я надеюсь, что вы освободите меня от предъявления своего послужного списка и доказывания моей добросовестности...

– Упаси бог! – взорвал акустическую бомбу Зацаренный. – Я вам верю. Но один мой очень умный друг всегда говорит, что никакой следователь не должен, не может расследовать дел, связанных с судьбой близких людей, как ни один хирург не станет оперировать дорогого ему человека. Руки дрожат!

– Да, у меня дрожат сейчас руки, – сказал я. – Может быть, ваш друг и правильно говорит про хирургов...

– А про нас? – усмехнулся Зацаренный.

– Про нас? Я вот только сейчас понял, что, когда каждое дело будет волновать тебя лично так, будто тебя самого режут, тогда правосудие будет обеспечено как надо...

– К сожалению, если смотреть на вещи реально, это невозможно. И когда горечь утраты стихнет и вы немного успокоитесь, поймете, что нельзя боль всего мира принять на себя... Вы не понимаете, что...

Я встал, дальнейший разговор мне представлялся бесплодным. Образованный, приличный человек, наверняка честный работник. Особая порода людей, которые начинают и завершают любой спор заявлением – «вы не понимаете, что...».

Зацаренный протянул мне руку, напутственно гулко прогрохотал:

– Мы, конечно, что сможем, проверим... Хотя особых надежд не питаю... Да и семья покойного ни с каким заявлением не обращалась... Вы им скажите... чтобы все было в установленном порядке...

На автомобильной стоянке, кроме моего «жигуленка» цвета «коррида», уже никого не осталось. Все разъехались. На опустевшей площади валялись оранжевые кляксы апельсиновой шкуры, пустые сигаретные пачки, ветерок разносил ключья бумаги. Черным колодцем зияла брошенная на асфальте лысая крышка с грузовика. Налившееся тяжелой краснотой солнце садилось в пепельно-свинцовые горы облаков.

Я подошел к машине и увидел, что рядом с водительской дверью сидит Барс. Завыл он тоненько и посунулся ко мне.

– Ты меня как разыскал? – потрепал я его по загривку, и Барс длинным горячим языком лизнул мне ладонь.

– Садись в машину, поедem домой. – Открыл заднюю дверцу, и Барс ловко прыгнул в кабину.

Я сел за руль, повернул в замке зажигания ключ, и мотор ровно, сильно заурчал, плавно включилось сцепление, медленно покатился по пустынной площади автомобильчик. Во всем городке пахло сиренью и пылью. Безлюдно и тихо. Только у подъезда Дома культуры толпились люди, доносились хохот и взвизгивания девчат. Свернул на зеленую Комендантскую улицу, навстречу со свистом – как стрижи – промчались два пацана на велосипедах, и снова стало пусто и тихо, залито неверным сумеречным светом майского заката.

У меня было ощущение, будто я сплю. Снится диковинный странный сон, пугающий, неприятный, я знаю, что это сон, но стряхнуть его мягкое обволакивающее ярмо не могу. И поскольку во сне мы ничему не удивляемся, я уже принял смерть Кольяныча, и теперь надо что-то делать, разговаривать, действовать, но, как во сне и бывает, я не знаю своей роли, не понимаю, что мне надо предпринять, какие слова я должен говорить.

Слева впереди меня по тротуару широко вышагивала статная крупная женщина с развевающимся хвостом светлых волос. Я притормозил около нее, высунулся в окно:

– Садитесь, Екатерина Степановна, довезу вас до дома...

Завуч в первый момент отшатнулась, потом узнала меня, усмехнулась:

– Да нет уж, спасибо... Я не домой, и идти мне тут рядом совсем...

– Тогда я могу вас проводить, – предложил я.

– А чего провожать? – громко засмеялась она, и ее смех вспорхнул в зеленых сумерках жестяной птицей. – Тут у нас не заблудишься, все рядом...

Я уже вылез из машины, скомандовал негромко Барсу: «Охраняй» – и подошел к задержавшейся в нерешительности женщине. Вихоть, ее зовут Екатерина Степановна Вихоть.

– Я все равно хотел вас повидать, мне надо с вами поговорить по делу, – сказал я настырно, а она пожала плечами, нехотя согласилась:

– Если по делу, то конечно...

– А вы опасаетесь, что бездельные вечерние прогулки с малознакомым мужчиной вас могут скомпрометировать? – поинтересовался я.

– Меня никакими обывательскими сплетнями не скомпрометируешь, – резко врубил она мне. – Но заботиться о своей репутации педагога я обязана...

Она была сейчас похожа на дот – огромное неприступное сооружение, которым стремятся завладеть какие-то несуществующие захватчики. А может быть, она нарочно придурилась, стараясь оттянуть время? Может быть, ей сейчас не хотелось говорить со мной?

Но я уже стряхнул с себя оцепенение, я делал привычное мне дело – разговаривал с людьми. Дело в том, что настоящая розыскная работа – это не ползание по земле в поисках следов и не преследования, не охота, не засады. Это просто разговоры. Много разговоров. С людьми интересными и противными, искренними и лживыми, мудрецами и дураками. Горы слов просеиваются через сито моего интереса, массу сведений трясу я на грохоте своих представлений о возможном и необходимом, пока не заблестит на дне искорка правды, бесценная крупица истины.

– Заверяю вас, Екатерина Степановна, что я человек очень строгих правил и знакомство со мной никоим образом подорвать вашей репутации женщины и педагога не может...

– Я не в том смысле... – слегка смутилась Вихоть, получив от меня гарантии, что я не начну прямо здесь, на вечерней улице, терзать ее репутацию. – Я это так сказала, вообще...

– Вот и я сказал так просто, вообще.

Мы пошли потихоньку по улице рядом, но взять ее под руку я не рискнул, поскольку от такой ревнительницы своей репутации за подобную вольность можно было бы в два счета схлопотать по физиономии. Несчастные беззаветные хранительницы рубежей, на которые никто не посягает!

– Как вы думаете, Екатерина Степановна, кто мог отправить Коростылеву эту телеграмму?

– А почему вы именно меня об этом спрашиваете? – вскинулась Вихоть.

– Я об этом спрашиваю всех, – мягко пояснил я. – А ваше мнение для меня особенно ценно...

– Интересно знать – почему же мое мнение вас интересует особо?

Я старался не смотреть на эту говорящую лошадь, только вслушивался внимательно – ее голос подрагивал, она странно реагировала на мои естественные вопросы.

– Вы же много лет вместе работали, хорошо знали Николая Иваныча. Вы, кажется, тоже словесница?

Она кивнула. В задумчивости она не замечала, что все время убыстряет ход: мы начали с вялого прогулочного шага, а сейчас она топала рядом со мной дробной тяжелой рысью.

– Вы, Екатерина Степановна, завуч, на вас так или иначе замыкаются все преподаватели, ученики и их родители. Вы лучше других можете знать – к кому из них следует внимательнее присмотреться...

– Этого я не знаю! Мне вообще неприятно думать, что подобное могло быть как-то связано с моей школой...

– Приятно или противно – тут уж считаться не приходится. Думать надо, и для меня будут очень ценны ваши соображения...

– А какие у меня могут быть соображения? Скорее всего, это сделал кто-то из старшеклассников. Очень трудная подрастает молодежь...

– Да я думаю, что во все времена подрастающая молодежь была трудной для взрослых. А у кого-нибудь из старшеклассников конкретно были с Коростылевым конфликты?

– Ну, этого я не могу сказать... Вообще Коростылев был человек прекрасный, но согласиться с его педагогической методой я не могла. Особенно в последнее время... Может быть, это у него возрастное... Да что сейчас говорить...

– А что вас не устраивало в его педагогическом подходе?

– Да разве во мне дело? У него ребята распускались... После его уроков другим педагогам было трудно владеть классом...

– Поясните мне, Екатерина Степановна, что это значит... Я ведь в школьных делах профан.

– Да тут не надо быть специалистом, есть аксиома взаимоотношений учащихся и преподавателей.

Мы свернули направо в сонный переулок, и сразу же на столбах заморгали, затеплились лампы дымным сиреневым светом, постепенно наливающимся яркой голубизной. И рой мошкары заходил кружащейся сетью вокруг истекающих слабым, неуверенным свечением фонарей.

Завуч не то досадливо, не то сердито сказала:

– Коростылев или не мог, или не считал нужным поставить необходимый барьер между собой – воспитателем и учениками – воспитуемыми. А без этого водораздела педагог обяза-

тельно спускается с высоты своего опыта и авторитета до уровня детей. Ведь школьники – это дети, и они должны точно знать, что такое дисциплина, что можно, чего нельзя, где проходит грань между ними и взрослыми... Сейчас и говорить-то об этом неуместно, но доходило до курьезов...

– А именно?

– Да этим «именно» числа нет. Ему балбес десятиклассник Самочернов официально заявляет на уроке, что считает Высоцкого поэтом лучше Маяковского, а Коростылев, вместо того чтобы поставить на место этого наглеца, начинает вместе со всем классом абсолютно серьезно разбирать, почему им нравится сейчас Высоцкий. – Она взглянула на меня и с искренним ужасом тихо сказала: – Они на уроке пели Высоцкого... С ума сойти можно...

– Екатерина Степановна, а может быть, это все выглядит не так драматически? Может быть, Коростылев на этом уроке соединил для детей кажущийся им разрыв между Маяковским и Высоцким?

– Нет! Этого не может быть! Можно только разрушить вечные ценности в неустоявшемся детском сознании...

– Екатерина Степановна, я не педагог, в теории воспитания понимаю мало. Но я хорошо знал Коростылева. И вот какой вопрос возник у меня: а вдруг он не опускался до детского уровня мышления, а поднимал их до себя? Вдруг он сам восходил к удивительному миру детского чувствования, нам, взрослым, уже недоступному?

Вихоть раздраженно фыркнула:

– Прекраснодушные разговоры постороннего человека! Вы знаете, какая у учителя основная задача в классе? Не дать ученикам сесть себе на шею!

Я засмеялся:

– А я по простоте своей думал, что преподаватель должен научить ребят знанию наук и человеческого поведения...

– Безусловно! Но это цель! А метод – не дать себя оседлать развеселой ораве в тридцать человек, иначе никаких знаний преподать им невозможно...

– Екатерина Степановна, я сам учился несколько лет в классе у Коростылева, и ребята мы были не менее бойкие, чем нынешние. Но никогда нам не удавалось, да и, честно говоря, не хотелось оседлать Коростылева... Не знаю, может быть, он постарел сейчас...

– Я и не говорю, что именно его класс мог оседлать. Но постарел он безусловно. Иначе и нельзя объяснить то, что он говорил ребятам... – Она шла уже такой дробной рысью, что трясся тротуар.

– А чего же он такого говорил? – всерьез удивился я.

– Да сейчас-то и вспоминать об этом неуместно, но Николай Иванович дошел до того, что его отдельные высказывания нельзя расценить иначе как религиозную пропаганду...

– Что?! Что вы говорите такое?

– То, что слышите! Он объяснял ребятам, что Александр Невский ни больше ни меньше как святой... Да-да! Христианский святой... – Она дышала возмущенно-тяжело, искренне.

Я засмеялся – через множество лет сквозь кривую призму ее убогого воображения и затаенного недоброжелательства вернулся ко мне старый урок Кольяныча.

– ...Запомните, дети, никогда не рано совершить доброе, никто не может быть слишком молод для подвига – великому князю владимирскому Александру Невскому на Чудском озере было двадцать три года. А почти через полтысячи лет он был причислен к лику святых и канонизирован. Не потому, что церковь осознала его святость, а потому, что Петр I нуждался в легендарном великом герое, который отвечал житейским представлениям простых людей о святости – то есть самом дорогим нам, самом заветном, навсегда связанном с истиной, благом, любовью и преданностью нашей Отчизне. И от этого имя Александра Невского, как и полага-

ется святому, – нетленно, ибо приходит к нам из мглы времени всякий раз, когда земля наша в беде и опасности...

– Вы смеетесь? – сердито выкрикнула Вихоть.

– Нет, я не смеюсь. Я грущу. А вы считаете, что детям не надо говорить о том, что Александр Невский был прославлен и почитаем как святой благоверный воитель?

Вихоть круто повернула направо в тенистый зеленый переулок, слабо освещенный старыми желтыми фонарями, застроенный деревянными домишками с лавочками у калиток, она так резко рванула в сторону, что я чуть не пролетел мимо, но сумел сманеврировать и устремился вдогонку ее размашистому мощному шагу.

– Да, я уверена, что это ненужная, вредная информация, мешающая неокрепшему детскому сознанию выработать четкое, ясное мировоззрение...

Я вздохнул:

– Бедный Владимир Мономах...

– При чем здесь Мономах? – настороженно-подозрительно спросила завуч.

– Дело в том, что основателя и собирателя Руси тоже почитали святым.

– Ага, я вижу, Коростылев воспитал достойного ученика! – ядовито заметила Вихоть, и я легко представил себе, как она распекает в учительской ребят-штрафников.

– Я надеюсь, – ответил я тихо. – Я бы очень хотел быть достойным учеником Коростылева. И позволю себе заметить, что он не занимался религиозной пропагандой, а делал самое трудное, что выпадает на долю учителя...

– Интересно знать, что же вы считаете самым трудным в нашей работе? – запальчиво спросила Вихоть, и меня охватила тоска от бессмысленности нашего разговора, его бесплодности и безнадежности. Нельзя словами раскрасить пепельно-серый мир дальтоника.

– Я, наверное, не смогу вам этого объяснить, но сказать вам о том, чем занимался целую жизнь Коростылев, я обязан. Несколько десятилетий подряд он множеству детишек мягко и настойчиво прививал мысль, ощущение, мировоззрение, что класс, школа, город, страна, мир – огромная семья этого маленького человека, и все нуждаются в его помощи и участии. Он приучал нас к мысли, что наша история – это не хронологическая таблица в конце потрепанного учебника, а наша родословная, живое предание о нашем общем вчера, без которого не может быть завтра. Он объяснил, растолковал, уговорил нас всех, заставил поверить, что литература – это не образ Базарова или третий сон Веры Павловны, а мироощущение народа, его ищущая, страдающая и ликующая душа, выкрикнутая в вечность... А-а! – махнул я рукой с досадой. – Что там говорить сейчас!

– Действительно, что вам со мной говорить! Где уж нам понять вас, столичных! – обиженно проржала Вихоть. – Но я, между прочим, на разговор с вами не набивалась...

– Это правда, – согласился я. Впереди замаячил перекресток, и мне стало любопытно, куда она повернет – налево или направо? – Вы действительно на разговор со мной не набивались. Мне даже показалось, что вы избегаете разговора со мной.

– Это почему же еще? – вскинулась она и, убыстрив шаг, не дожидаясь моего ответа, свернула за угол направо. – Чего это мне избегать разговора с вами?

– Вы избегаете со мной серьезного разговора о том, что могло произойти в школе...

– А что должно было произойти в школе? Слава богу, в моей школе все в порядке! – Она говорила с нажимом: В МОЕЙ ШКОЛЕ... ВСЕ... В ПОРЯДКЕ...

– Сомневаюсь...

– А мне безразлично, сомневаетесь вы или нет! К школе это не может иметь отношения... И конечно, мне не нужно, чтобы вы без серьезных оснований тормозили всех, допрашивали-переспрашивали... Всю школу перебулгачите, а результатов будет – нуль...

– А у меня есть серьезные основания, – сказал я уверенно. – По крайней мере два...

– Даже целых два! Мне не расскажете, конечно?

– Обязательно расскажу. Первое – вся жизнь Коростылева была замкнута на школе. У него не было в привычном смысле личной жизни вне школы, бытовые проблемы его не интересовали. Поэтому, скорее всего, телеграмма была инициирована какими-то событиями в школе, о которых я обязательно узнаю. В этом я вас уверяю...

– На здоровье! Тем более что в информаторах нужды не будет. А второе?

Нам оставалось пройти два квартала – и упрямся в Комендантскую улицу. Там, где я ее увидел. Только мы должны были выйти на полкилометра раньше того места, где я оставил машину с Барсом.

– Второе? – не спеша переспросил я. – Второе основание – из области ощущений, бездоказательных, непроверяемых. Впечатления и предчувствия...

– Какие же именно у вас ощущения и впечатления? – недовольно мотнула она головой, которой сильно не хватало дуги и удил.

– Мне показалось, что вы не чрезмерно огорчены смертью своего коллеги...

Она задохнулась от ярости, только рот широко открывала, как вынырнувший из глубины пловец.

– Ну... ну... ну... это, знаете ли... дерзость... нахальство...

– Ощущение не может быть дерзостью или нахальством. Мне так показалось, – пожал я плечами. – Впечатление у меня такое сложилось.

– Наглость – то, что вы мне говорите о своих дурацких впечатлениях! Ощущение у него! Что ж мне – рядом в могилу ложиться? Так я ему не жена! Я в отличие от некоторых не какой-то там Янус двуличный, а скорблю со всеми, как полагается...

Скорбит со всеми, как полагается. А ведь наверняка когда-то Кольяныч ей говорил, что Янус не двуличный, а просто смотрит он своими двумя ликами – печальным и радостным – в прошлое и будущее, скорбит и надеется. Да забыла она в суматохе жизни, много дел, должно быть, у такого энергичного завуча. Скорбя как полагается, вышли мы на Комендантскую улицу, и она отрезала:

– Все, до свидания, вот мой дом, я пришла, – и показала рукой на трехэтажное кирпичное сооружение на противоположном углу.

– До свидания, Екатерина Степановна. Я вас еще обязательно навещу, – уверенно пообещал я.

Она пошла через дорогу, бросив мне через плечо неопределенное:

– Это уж как там получится...

Впереди по улице еле просматривался в наступившей темноте мой автомобильчик. Я медленно направился к нему, на ходу обдумывая странный маршрут нашей прогулки. Вихоть шла к кому-то – на свидание или в дом, но, встретив меня, передумала и, описав большой круг, вернулась к себе. Ах, как мне хотелось знать – к кому она собиралась в гости?! К подруге? Портнихе? Сослуживице? Родственнице?

Во всяком случае, к кому бы Вихоть ни шла, она явно не хотела, чтобы я знал об этой встрече.

Я открыл дверцу, и Барс коротко радостно взвыл – он тосковал в этой железной скорлупе, в отчаянии и безнадежности дожидаясь меня. Он толкался носом мне в затылок, в ухо, тонко горлово подвизгивал, будто хотел мне сказать что-то очень важное, и мука немоты судорожно скручивала его мускулистое поджарое тулово.

– Терпи, брат, – сказал я ему. – Терпи. Такая у нас с тобой работа – терпение, ожидание, внимание...

Вслушиваясь в мой голос, он успокоился, примостился тихо на заднем сиденье, только уши по-прежнему стояли дыбом.

– Поехали теперь к Наде...



Ночи, настоящей тьмы в начале лета здесь не бывает. Когда я подъехал к дому, на востоке уже лежала сочная мгла, налитая густой синевой. А на другой стороне горизонта еще рдели остатки заката и небесный купол там не доставал до земли, размытый желто-красными бликами исчезнувшего за лесом солнца. И от этого казалось, будто ночь сама источает этот недо-стоверный перламутрово-серый свет.

Напротив дома Кольяныча стояла у калитки женщина. Наверное, я бы и не заметил ее силуэта, еле просматривавшегося в дымных сумерках, но она шагнула мне навстречу:

– Вечер добрый... Я Дуся Воронцова...

Дуся сегодня уже дважды привечала меня и все-таки снова назвала себя, потому что привыкла за целую жизнь, что люди, едва познакомившись с ней, тотчас забывают ее невыразительное доброе лицо с мелкими чертами, словно размытыми многолетними огорчениями, тяготами и бабьими слезами.

– Здравствуйте, Евдокия Романовна, я рад нас видеть...

– Ой, как хорошо! – И заторопилась, быстро заговорила, словно спешила сказать, успеть передать, пока я снова не забыл ее. – Надя не ложится спать, она вас дожидается. Она мне сказала: «Обязательно Станислав Павлович к нам зайдет». Надюшка у меня такая в слове твердая! И другим всем верит...

Почему-то я знал, что Надя будет ждать меня. Я был уверен, что она захочет узнать хотя бы о первых моих шагах в розыске. Да и мне очень хотелось поговорить с ней. Она может мне объяснить многое. Подумал об *этом* – и сразу же поймал себя на том, что мне охота поговорить с ней не только о случившемся. Мне просто хотелось поговорить с Надей.

Дуся, еле различимая в темноте, неуверенная, незапоминающаяся, встревоженная моим молчанием, засуетилась, просительно сказала:

– Идемте, а? Сейчас еще не поздно, ничего, мы и чай сделали, и пирог я успела испечь. Заходите, Надя вам будет рада. – И, боясь, что я откажусь, быстро пошла через дорогу к своему дому.

Надя за столом читала книгу. Зеленый югославский абажур окрасил комнату в прозрачные тона, в углах комнаты замерли сторожкие болотные тени. На электрической плитке тихонько пофыркивал чайник, старый жестяной чайник с носиком, заткнутым свистком. Когда-то чайник был красным, а теперь эмаль обтерлась, отбилась до металла, и стал он похож на маленький паровоз. Свисток тоненько, сипло присвистнул. В круглом жестяном котле всегда неподвижного паровозика за долгие годы столько воды накопело – полмира объехать можно. А он простоял все это время на плитке. Свисток поначалу давился паром чуть слышно, а потом его свист стал настойчивее и громче, он предупреждал нас: не молчите, он гнал нас перед собой по невидимым рельсам необъяснимого смущения.

– Вам покрепче? – спросила Надя.

– Да, если можно, почти одну заварку.

Она довольно кивнула:

– Я тоже люблю настоящий чай.

Надя насыпала в фарфоровый заварочный чайник черно-коричневые засушенные травинки из длинной пачки со смешной этикеткой – диковинный горбатый слон, похожий на дро-мадера, несущий на себе погонщика с опахалом. Зеленоватый полумрак, смуглая девушка с родинкой на лбу, индийской тикой. Она в этот момент была не похожа на учительницу в забы-том маленьком Рузаеве, а казалось, что сошла Надя с оборотной стороны чайной этикетки – добежит горбатый слон до края пачки, завернет его за угол погонщик, подхватит потерявшую-ся принцессу и умчит обратно в забытую сказку.

Чай Надя разливала в большие чашки. Над красно-золотистой жидкостью мле-л белый парок. Чайник на плитке иногда тонко всхлипывал вялым свистком. Маленький паровозик, недвижимо мчащийся в никуда. Куда везешь?..

– Устали, наверное? – спросила Надя.

– Не знаю. Наверное, устал. Не знаю. Просто бывают дни, полные потерь, огорчений и неудач. Вот в такие дни меня отравляют досада, горечь, боль. И тогда я чувствую, как старею...

Дуся, неслышно сновавшая где-то за спиной, сказала:

– Ну, вам до старости еще далеко, вы совсем молодой мужчина.

Я усмехнулся, а Надя, не обращая внимания на мать, спросила:

– Как вы думаете, вам удастся что-нибудь узнать?

Мне не хотелось хорохориться, что-то изображать и представлять – я себя чувствовал с нею удивительно просто и легко.

Вообще с того момента, как она мне сказала, что много лет была влюблена в меня, я понял, что с ней надо или говорить совершенно искренне, или не разговаривать вовсе. Но мне хотелось с ней говорить. Я только сейчас ощутил, что все время хотел Надю увидеть и говорить с ней.

– Не знаю. Это трудное дело. И вполне загадочное – я понял, что очень многие не хотят, чтобы я отыскал правду...

– Значит, шансы есть?

– Конечно. Такие шансы всегда есть. По своему опыту я знаю, что следователь побеждает, если он начинает думать о своем деле всегда.

Дуся, деликатно покашливая, вышла из кухни и поставила на стол пирог, высокий, румяный.

– Ешьте на здоровье, это со смородиной. Мы ее сами консервируем. Как раз на год хватает, от лета до лета...

Надя махнула рукой:

– Перестань, мама. Кого это интересует?

Пирог облегченно вздохнул, и корочка чуть-чуть опала.

Дуся застеснялась и робко сказала:

– Надечка, я ведь это просто так, к слову заметила...

Надя вперила своими черными индийскими глазами мне в лицо, чуть прикусила губу и нервно заговорила:

– Станислав Павлович, вы, наверное, думаете, что я это от кровожадности, от желания отомстить... Поверьте, я не о том сейчас думаю. Я не могу объяснить, но точно знаю, что эта история не может закончиться ничем... Я бы очень хотела, чтобы вы нашли этого мерзавца. Мне невыносима мысль, что удивительного человека Коростылева мог безнаказанно убить какой-то ничтожный мерзавец, и сейчас, наверное, веселится, радуется, как ловко все получилось у него, как это просто – убрать из жизни замечательного, нужного человека, потому что мешал чем-то ему или стал вреден. И совсем это не страшно и не опасно – это ненаказуемо! Вы не можете это оставить просто так...

Я пожал плечами:

– Я и не собираюсь оставлять это просто так. И не считаю вас кровожадной. Мы сейчас здесь и чай распиваем вместе потому, что оцениваем ситуацию одинаково. Надя, а ваша завуч Екатерина Степановна сильно не любила Коростылева?

Надя досадливо дернула подбородком:

– Да нет, это не то слово. Дело не в том, что она его не любила. Она его абсолютно естественно не воспринимала, не понимала, они были разнородные существа. Ну, знаете, как бы это объяснить – вот мы с вами углеводородные, а она кремнийорганическая. Они с Коростылевым совсем разные были. Она считала его от старости чуть-чуть свихнувшимся. Этаким старый придурок, безвредный, но назойливый. Ей и мысль в голову не приходила, что его ум организован совсем по-другому, чем у нее...

– А они часто конфликтовали?

– Ну, я непосредственно дела с ними не имела, участия в их конфликтах не принимала, но, конечно, разговоры доходили. В последний раз был крупный бой. Вихоть поставила девочке двойку за сочинение, а Коростылев вынес этот вопрос на педсовет и оспаривал оценку принципиально...

– А в чем существо спора? – спросил я.

– Вихоть задала им сочинение на тему «За что я люблю Гринева и ненавижу Швабрина?». А девочка в сочинении написала: «Я не люблю Гринева и считаю его глупым, инфантильным барчуком, а Швабрина уважаю, потому что он боролся вместе с пугачевцами против царского самодержавия и был настоящим мужчиной». Подход несколько неожиданный, но Коростылев настаивал на том, что мы не можем заставлять всех детей думать одинаково, что без свободы мнения и неожиданных подходов к привычным нам понятиям не может развиваться из ребенка гармоническая личность.

– Но мне кажется, что такой случай мог стать основой их несовместимости...

– Да, конечно, – согласилась Надя, – это я так, в качестве примера. Я думаю, что Вихоть не любила Коростылева так же, как должник, не имеющий возможности расплатиться, начинает ненавидеть человека, который и долг вроде бы не требует вернуть, но и отказывается забыть о нем...

Я закурил сигарету, устроился поудобнее на стуле и попросил:

– Поясните, пожалуйста...

– Не понимаете? – удивилась Надя. – Вы разве не замечали, что многие люди боятся чувства благодарности, стыдятся его, они испытывают какую-то досаду против тех, кто сделал им много доброго?

– Случалось мне видеть и такое, – кивнул я.

– А Коростылев сделал очень много доброго Вихоть, но, видимо, не в коня корм. Она органически не воспринимала все то, что он хотел ей дать...

– Екатерина Степановна показалась мне человеком с огромным самомнением, – заметил я.

– Ну это уж как есть, – усмехнулась Надя. – Она вообще из той породы людей, что искренне уверены, будто человечество произошло не от обезьяны, а от них. Наш физик Алеша Сухов сказал про завуча, что ее можно использовать как физическую единицу меры настырности: один вихоть – единица напористости и наглости...

Дуся тихо подошла к столу, чтобы не мешать разговору, длинным ножом разрезала пирог, положила на мою тарелку большой сочный кусок, молча придвинула ко мне.

– Попробуйте, мама замечательно печет все это, – предложила Надя.

И Дуся обрадовалась паузе, оживилось ее неяркое лицо, залучилось, яснее проступили глаза.

– Вы поешьте сначала, поговорить еще успеете...

– Спасибо! А вы, Надя, не любите сласти? – спросил я.

– Не-а, – помотала она головой. – Я вообще с детства мало ем. А суп с грехом пополам меня приучил есть Николай Иванович...

Я удивился:

– Каким образом?

– Э! Как он делал все – никогда никого не заставляя. Он умел заинтересовать в самом скучном и неинтересном деле. Я была маленькая, и Коростылев мне рассказывал, что мы с ним устроим охоту на загадочного дикого зверя, живущего в лесу за Казачьим лугом. И мол, если нам удастся его подстрелить, то суп из него сделает нас неслыханно умными, сильными и красивыми. А назывался зверь – Дикий Говядин...

Мы засмеялись оба, и я легко представил себе, как Кольяныч воодушевленно рассказывает о неведомом Диком Говядине, жарко полыхает живой глаз, а синий, стеклянный, полу-

прикрыт веком, и эта маска иронии и страсти снова делает мир недостоверным, потому что никогда нельзя понять: говорит он правду или выдумывает, сердечно убеждает или тихонько насмеяется.

– И что, подстрелили вы Говядина? – спросил я.

– Я сильно болела, и пришел однажды Коростылев – не с кастрюлей, не с термосом, а со своим фронтовым котелком, завернутым в ватник. «Похлебка из Дикого Говядина!» – кричал он от самых дверей и стучал в доньшко алюминиевой ложкой. – Надя потеряла ладонью лоб, смежила веки, будто боялась, что мы спугнем воспоминание. – Он уверял меня, что съеденный нами суп сделает его молодым и, скорее всего, у него вырастет оторванная рука, а я превращусь во взрослую красавицу. Но обязательно надо съесть сто котелков этой похлебки. И конечно, я не устояла перед таким соблазном...

Надя грустно засмеялась, и мне показалось, что она сейчас заплачет.

– Боже мой, какие он всегда выдумывал замечательные истории! – воскликнула она, и я услышал крик сердца. – Вы видели завешание Колумба?

– Да, видел...

Много раз я читал старый пергамент, и мне было непонятно, сделал ли Кольяныч его сам, нашел, купил или придумал.

А иногда именно в такие длинные вечера, когда время утрачивало четкость, как расфокусированное изображение, мне начинало казаться, что пожелтевший лист – настоящее завешание Колумба, что эти неровные подслеповатые буквы сползли с гусяного пера на волглый пергамент четыреста лет назад в минуту душевной потерянности, утраты, надежды, разлома веры. И, всматриваясь в морщинистые блеклые кружки – пятнышки соли от океанских брызг или оброненных слез, – я слышал свист ветра, треск рушащихся рей, глухой стук бондарного молотка в днище просмоленной бочки, укрывшей внутри себя весть человечеству о том, что погибающий сейчас Христофор Колумб пересек Океан Тьмы и открыл водный путь в сумеречную далекую страну – Индию.

Индию, которая оказалась Америкой, – великое заблуждение, соединившее две половины человечества.

Прикрывал глаза и слышал сиплый быстрый голос Кольяныча:

– Не торопись судить – очевидное обманчиво. Мы узнаем себя и мир через боль рухнувших иллюзий, досаду понятых ошибок, трудное терпение думать об одном и том же...

Я смотрел, как Надя наливает мне в чашку рубиново-красный чай, и думал о том, что она правильно подметила главное в общении Кольяныча с людьми: он никого никогда не заставлял, ни на кого не напирал. Он не давил, не убеждал и не настаивал, а только пытался мягко и весело уговорить, все время отступая, и предлагал всем выбрать для себя наиболее удобный, ловкий, выгодный вариант решения, поступка, поведения. И как-то так уж получалось у него, что этот удобный, ловкий, выгодный вариант – это поступок в чью-то пользу, это решение для другого, это хорошо всем остальным. Удивительный парадокс поддавок – побеждаешь, только сдавая свои шашки. Выигрываешь – раздавая.

Будто отвечая самому себе, я неожиданно сказал вслух:

– Он знал трудное искусство жить стариком...

Надя удивленно взглянула на меня:

– Да он и стариком-то не был! Он был молодой человек. Просто он жил в старой, немощной плоти. – И покачала головой. – Нет, нет, стариком он не был...

На стене зашипели часы, что-то в них негромко чавкнуло, растворились дверцы, и выскочила наружу механическая кукушка. Кукушка была странная – она не куковала, а только нервно кивала головой, и что-то внутри часов в это время потрескивало, тихонько скрежетало и тоненько звякало. И, устыдившись своей немоты, кукушка дернула последний раз головой

и юркнула в укрытие. Дуся, неслышно сидевшая в углу дивана со сложенными на коленях руками, словно оправдывая ее, грустно сказала:

– Старая она очень... Время хорошо показывает, а вот голос пропал...

Я сказал Наде:

– Мне кажется, что Вихоть скрывает от меня что-то важное...

– Что именно?

– Ну как вам сказать... Я не могу поверить, что они всерьез ссорились из-за сочинения о Швабрине и Гриневе. Что-то было гораздо серьезнее...

Надя сказала:

– Конечно, не в этом дело. Просто один из эпизодов возникшей между ними неприязни. Точно так же, как Коростылева начинало трясти, когда он слышал, что Вихоть, преподаватель русского языка, говорит: «Мальчуковое пальто», «Пальтовая ткань», «Бордовый цвет». Но не в этом было дело...

– А в чем?

Надя подумала и медленно, будто подбирала правильные слова, сказала:

– Мне кажется, что Николай Иванович считал ее человеком не на своем месте, что ей нельзя заниматься воспитанием детей...

– И что, он не скрывал этого от Вихоть? – спросил я.

– Думаю, что последнее время не скрывал. К сожалению, я не знаю подробностей, но на прошлой неделе разразился какой-то глухой скандал.

– Интересно, – насторожился я. – Скандал? Между кем да кем?

– Коростылев мне не рассказывал об этом, но, как я слышала, он решил выставить двойку за год и не допустить к выпускным экзаменам Настю Салтыкову...

– И почему это могло быть причиной скандала с завучем?

– Вы понимаете, Станислав Павлович, я бы очень не хотела, чтобы у вас возникло ощущение, будто я пересказываю сплетни. Я просто хочу рассказать вам все, что я знаю, а знаю я не так уж и много, во всяком случае, того, что могло бы вам помочь...

Я мягко прижал ладонью к столу ее подергивающуюся от нервного напряжения руку:

– Надя, поверьте мне, я ненавижу сплетни. Но в таких драматических обстоятельствах тайный фон отношений между людьми порождает не сплетни, а версии. Скорее всего, эта Настя Салтыкова – любимица Вихоть? Так?

Надя досадливо кивнула:

– Да! Она всячески протезирует этой способной, но очень ленивой и дерзкой девочке-десятикласснице.

– А в чем причина такой любви Вихоть к этой девице?

– Да не к девице! Ее мать – подруга Вихоть. Клавдия Салтыкова – человек влиятельный, директор Дома торговли. Дружат они с Вихоть много лет. И конечно, Вихоть заинтересована, во-первых, в том, чтобы дочка ее подруги получила аттестат зрелости, а во-вторых, чтобы не был зафиксирован грубый брак в работе – это ведь неслыханное дело, чтобы десятиклассницу не допустили к экзаменам...

– А почему Коростылев так возражал против нее?

– Потому, что девочка совсем ничего не знает. Девочка совершенно не хочет учиться, она уверена, что ей место в жизни и так обеспечено. Я боюсь утверждать, я этого не знаю наверняка, но мне кажется, что у Коростылева были принципиальные возражения против того, чтобы выпускать с аттестатом зрелости Настю...

– А у матери Салтыковой были столкновения с Коростылевым?

– Я знаю, что когда-то давно она оскорбляла Николая Ивановича и он просто не разговаривал с ней. Я подробностей точно не знаю, но я и сейчас не уверена – имеет ли это отношение к случившейся печальной истории.

– Скажите, Надя, а вы знаете Салтыкову? Что она за человек-то?

Надя задумалась, и по мелькнувшей на лице тени я видел, что ей не хочется говорить об этом. Она сделала над собой усилие и произнесла:

– Я затрудняюсь вам сказать что-нибудь определенное. Я таких людей боюсь – то, что называется бой-баба, она кого хочешь в бараний рог скрутит...

– А если не скрутит?

– Тогда обманет, задарит, заласкает! Не люблю таких. Она да Вихоть – два сапога пара...

Я поставил чашку на блюдце и попросил разрешения позвонить по телефону.

– Да, конечно, пожалуйста...

Я набрал 07 и услышал чуть сонный голос Ани Веретенниковой:

– Междугородная слушает...

– Добрый вечер, Анечка. Это Тихонов вас беспокоит...

– Да-да, я ждала вашего звонка. Вам звонили из Москвы. Я обещала, как только вы появитесь, сразу вас соединить.

– Спасибо, Анечка, окажите любезность.

Ее голос исчез из трубки, слышались какие-то шорохи, электрические толчки, затем раздался протяжный гудок, и в телефоне возник голос Коновалова:

– Дежурная часть Главного управления внутренних дел.

– Коновалов. Серега, это я, Тихонов.

– А, привет. Я тут хотел тебя поставить в курс дела. Я связался с Мамоновом. Дежурные послали опергруппу на почту, опросили всех, кого возможно. Они, как ты и предполагал, сделали «вилку» из тех, что посылал телеграмму до и после той, что отправили в Рузаево. Люди более-менее одинаково описывают молодого человека: блондин, выше среднего роста, одет в серый летний костюм. Никаких конкретных сведений о нем нет.

– Ты не узнавал – они опрашивали местных жителей? Может быть, кто-нибудь его знает?

– Конечно узнавал. Никто его не опознает. Это микрорайон. Там все друг друга знают, и, судя по тому, что ни телеграфисты, ни опрошенные клиенты его не могут назвать, это явно чужой, приезжий, а может, проезжий. В Мамонове никто его раньше не видел...

Голос у Коновалова был огорченный и усталый.

– Серега, завтра передай по смене мою просьбу. У меня могут возникнуть новые вопросы, я буду звонить с утра...

– Хорошо, – сказал он. – До десяти я на месте, а меняет меня Петренко. Я проинформирую подробно и попрошу все возможное сделать.

– Обнимаю. Привет. Пока.

В телефоне что-то щелкнуло, голос Коновалова пропал, и из мгновенной тишины возникла Аня:

– Поговорили?

– Да, Анечка, спасибо. К сожалению, ничего нужного мне не рассказали. Я, видимо, снова буду просить вас о помощи...

– Хорошо, я дежурю до утра. Если что-нибудь понадобится, вы звоните моей сменщице Гавриловой Рае, она все сделает, я предупрежу.

– Будьте здоровы...

Я положил трубку. Надя настороженно смотрела на меня, дожидаясь результатов разговора. Я покачал головой:

– Пока вестей никаких... Так что все откладывается до завтра. Надеюсь, мне удастся решить эту задачу.

Она спросила:

– Вы думаете о нем всегда?

– Да, всегда. Я буду думать о нем всегда, – помолчал и добавил: – Николай Иванович Коростылев любил повторять, что ничего путного нельзя узнать без ньютоновского терпения думать об одном и том же...

На улице было тепло и тихо. В небе плыла мутная, слабая луна. Небо расчертили слоистые волокна облаков, похожие на дымные полосы. Отсюда, со взгорка, было видно, как над центром Рузаева, освещенного газосветными сильными лампами, вздымается оранжевый отсвет, похожий на йодистый пар.

Пахло сиренью и горьковатым ароматом цветущих тополей. Прибитая росой пыль на дороге всасывала звук моих шагов. У калитки стоял в сторожке напряженной позы Барс. Тоненьким горловым подвизгом он дал мне знать издали: «Слышу, ожидаюсь!»

Я отворил дверь в дом и позвал его:

– Пошли со мной... Нам тоже спать пора...

– Припозднился ты, брат, припозднился, – благодушно сказал Владилен, оторвавшись от маленького транзисторного приемника, вещавшего спортивные новости. Владилен удобно устроился в старом глубоком кресле, верхняя пуговица на поясе брюк была расстегнута, подтяжки сброшены с плеч, он весь был замкнут на процессе спокойного вечернего пищеварения.

Женщины перетирали за столом вымытую посуду. Лара обессиленно кивнула мне, а Галя сосредоточенно не смотрела на меня. Она выражала мне свое неудовольствие тем, что я напрочь забыл о ней в такой тяжелый, волнующий день, не оказал должного внимания и сам отказался от столь необходимого мне сопереживания. И тем самым лишил ее дополнительного веса в глазах столь близких мне людей, переживающих горе, которому она сейчас сочувствовала, а я – своим отсутствием – снижал тяжесть понесенного удара и гасил накал ее сострадания.

Барс робко потыкался мне в ноги, потом понял, что его не выгонят, отошел в угол и свернулся в лохматый ком.

– Ты есть не хочешь? – спросила Лариса.

Я отказался. Уселся за стол, откинулся на спинку стула, вытянул ноги, и огромная усталость навалилась на меня. Мне не хотелось говорить, думать, не хотелось никого видеть. Одно огромное желание владело мной: лечь, закрыть глаза, свернуться, как Барс, клубком, забыть все, забыть этот долгий ужасный день.

– Тебе удалось что-нибудь узнать? – спросил Владилен, не отрываясь от своего приемника. В транзисторе что-то пищало, скрипело, билось, скороговоркой суетливо бормотало. Казалось, что он держит в руке маленькую клетку с напуганным беснующимся зверьком. Но зверек матусился напрасно – его пищаний страстный шепот мало волновал Владилену. Приблизительно так же, как и мои сведения, которые я должен был добыть. Владилен – безмятежно счастливый, спокойный человек. Равнодушный ко всему на свете.

– Нет, ничего не узнал я покамест, – нехотя ответил я и спросил у Лары: – Тебе не доводилось слышать от отца о каких-нибудь конфликтах с завучем?

– С Вихоть? – удивилась Лара. – С Екатериной Степановной? Не-ет! Вроде нет, не слышала. Ничего особенного не припоминаю. Вообще-то, он о ней отзывался не очень уважительно, но ничего особенного никогда не говорил. А почему ты об этом спрашиваешь?

– Да так, просто хочется знать, – лениво ответил я и пояснил: – Мне нужно знать все, что здесь происходило. Я хочу точно выяснить отношения отца с этими людьми.

– Ты все-таки надеешься восстановить справедливость? – спросила Галя.

Галя – удивительный человек. Она никогда не оперирует бытовыми понятиями. Для нее существуют только всеобщие категории: Справедливость, Любовь, Верность. Для нее мир выстроен из крупных блоков глобальных отношений.

Я пожал плечами:

– Моя задача – искать не справедливость, а правду...

– Какая разница? – хмыкнула Галя.

– Большая. Я думаю, что у людей очень разные представления о справедливости. Мне нужна правда, она универсальна для всех.

– Тогда непонятно, почему тебя заинтересовали отношения Николая Ивановича с завучем, – сказала Галя. – По-моему, она очень симпатичная женщина. Мне нравятся такие люди – пусть резкие, прямые, но они знают, чего хотят в жизни.

– Да? – усомнился я. – Возможно... Во всяком случае, мне показалось, что она не очень хорошо относилась к нашему деду. И мне она точно не нравится...

Галя обиженно промолчала, а Владилен выключил приемник, встал, потянулся – крупный, рослый, хорошо кормленный, в красивой заграничной рубашке и с расстегнутой верхней пуговицей на брюках. Ничто не могло порушить его взаимной влюбленности с жизнью. И вальяжную его представительность нисколько не портила розовая плешь, которую он закрывал поперек головы аккуратной волосяной попонкой. Владилен улыбнулся мне доброжелательно и сказал:

– Стас, может быть, ты слишком высокие требования предъявляешь к людям?

– А в чем они, эти высокие требования?

Владилен смотрел на меня снисходительно-ласково, как мудрые отцы взирают на своих шустрых, ершистых несмышленишек.

– Ведь тут вопрос совсем простой, – глубокомысленно поведал он. – Надо подойти к нему достаточно широко, чтобы картина была и реалистичной, и объективной. Мой тесть Николай Иванович был человек замечательный во всех отношениях. Но людям простым, незамечательным – тем, кто с ним жил и работал, – доставалось несладко...

Я опешил и немного растерялся:

– А чем же это несладко было тем, кто с ним жил и работал?

– Он предъявлял к людям невыполнимое требование – быть не хуже его, – усмехнулся Владилен, – а это было весьма затруднительно, поскольку человеком он был во многих отношениях исключительным. Но, на мой взгляд, ему не хватало очень важного человеческого свойства – терпимости к чужим слабостям и недостаткам...

И снова было не ощущение горечи, или боли, или гнева – а воспоминание об удивительном сне заполнило меня.

Сон во сне. Сон за пределом сна. А внутри бесплотного шатра, под невидимым сводом – здесь была явь. Висящий в воздухе стакан. Предмет, опирающийся только на мою волю. Удерживаемый силой души...

Я внимательно смотрел на Владилена и думал о том, что Кольяныч никогда не жаловался мне на зятя, никогда не хвалил его, не упоминал о нем. Я знал, что он зятя недолюбливает. Только однажды он сказал:

– У нас нормальный литературный конфликт отцов и детей. Только в жизни конфликт наш развернут наоборот: мой зять – очень серьезный, сытый, пожилой человек, немного утомленный людской глупостью. А я... – Он задумался.

– А вы? – спросил я.

Он тихонько засмеялся, яростно блеснул стеклянным глазом и сообщил шепотом:

– Я – мальчишка, убежавший с уроков...

– Вот видишь, как все по-разному воспринимают людей, – сказал я Владилену. – Мне-то всегда казалось, что Кольяныч – единственный человек, который прощал людям все. Он мог войти в положение любого человека...

Да, он входил в положение любого встречного, с азартом входил, энергично, с искренним интересом. По-моему, иногда забывал выйти, так и жил подолгу с чужой бедой, с соседской радостью.



– А я разве возражаю? – воздел руки Владилен. – Мог войти, помочь, посочувствовать, простить и промолчать. Но внутри осуждал, и это было видно, а людям неприятно, когда их осуждают за их слабости. Люди любят нравиться, им хочется, чтобы их уважали, ценили и чтобы ими восхищались.

– Это точно, – заметил я. – Вот такой человек, как ты, заслуживает непрерывного восхищения. Я сам всю жизнь мечтал быть таким, как ты, но у меня это, к сожалению, не получилось.

Владилен легко засмеялся, он не желал замечать моего недоброжелательства, он просто махнул на меня рукой:

– Ладно, брось подначивать. Дед прожил долгую, хорошую жизнь. Знаешь, как Монтень сказал: «Кто научил бы людей умирать, научил бы их жить».

Я помолчал и ответил:

– Мне кажется, что, если бы люди научились жить так, как Кольяныч, для них утратил бы свой страшный смысл вопрос о том, как умирать.

Владилен помотал головой:

– Ну с этим я не согласен! Ведь ты же сам больше всех хочешь выяснить – почему и как, при каких обстоятельствах умер старик? Ведь тебя же это волнует?

– Да, это меня волнует, – твердо сказал я. – Потому что он не просто умер, а, мне кажется, его убили. И допустить в этом хоть тень сомнения я не могу.

– И это правильно! – горячо поддержал Владилен. – Кабы только удалось – это было бы замечательно! Хотя я склонен полагать, что это вряд ли возможно.

– Почему вы все заранее уверены, что это невозможно? – спросил я. – Почему вы не сучите ногами от нетерпения, почему не подталкиваете локоть от жадного ожидания, почему не кричите – давай, давай, мы ждем от тебя ответа!..

Владилен хмыкнул:

– Давай, Стас! Давай, давай! Мы ждем от тебя ответа. Но опасаясь не дожидаться...

– Уточни...

– У тебя исходная установка неправильная. Николай Иваныч был человек неплохой и честный. Отсюда ты делаешь неправильный вывод: у доброго, старого, честного человека не может быть много врагов. Надо пошустрить и сыскать одного-единственного прохвоста, который учинил эту беду...

– А в чем неправильность моего вывода?

– В том, что мой тесть мог иметь очень много врагов или недоброжелателей. И имел их наверняка...

– Это почему?

– Потому что он был стар и очень активен. Старики вообще люди трудные. Как говорит мой заместитель, они из-за склероза не помнят вчерашнего большого добра, а пустяковое старинное зло всю жизнь в себе лелеют...

– Посовестись, Владик, – твой тесть ни на кого никогда зла не держал...

– Ошибаешься, Стас! Ты находишься в добросовестном, искреннем заблуждении, поскольку вы с Коростылевым вообще похожие люди. А он был вовсе не христосик и на плохих человечков зло не просто держал, а изо всех сил с ними бился. И они его за это дружно не любили. Понятно?

– Понятно, – кивнул я профессору теоретической банальности.

– И этих самых человечков должно быть немало. Поэтому я и не уверен, что ты найдешь среди них автора телеграммы...

– Ладно, поживем – увидим, – сказал я. – Мне так не кажется. Попробуем, поищем, посмотрим. Надеюсь, что найдем.

– Да, это было бы хорошо, – повторил Владилен. – К сожалению, я послезавтра должен уезжать, ты же знаешь – служба не ждет, мне вообще надо готовиться к отъезду...

Владилен, кадровый работник Внешторга, полжизни провел где-то за рубежами, и у меня постепенно сложилось впечатление, что он воспринимает жизнь как очень доброжелательный, заинтересованный, активный турист. Хотя, возможно, я был к нему несправедлив.

– А ты куда едешь сейчас? – спросил я его из вежливости, хотя, честно говоря, мне это было безразлично.

– Должен ехать в Уругвай.

– В командировку?

– Да нет уж. Заместителем торгпреда. Года на два, на три... – помолчал немного, потом добавил: – Вот если эта история не задержит...

Я удивился:

– А как это может тебя задержать?

– Ну, знаешь ли, это не вопрос... По-разному бывает... И посмотреть на эту историю могут по-разному. Кто-то умер, или кого-то убили, какие-то неприятности, странная история. Кадровики ведь люди въедливые. Конечно, история эта во всех отношениях неприятная.

– Да ты не бойся, тебя эта история никак затронуть не может, – сказал я и почувствовал, что меня распирает от желания сказать ему что-нибудь злобное, обидное.

– А я и не боюсь, – усмехнулся Владилен и серьезно добавил: – Но все равно думать об этом приходится...

Он взялся за ручку двери и неожиданно спросил самого себя, и вопрос этот прозвучал как ремарка в старых пьесах – «в сторону»:

– Оно мне надо?

И вышел.

Да и мне пора идти укладываться. Притомился я сегодня. Надо выспаться – завтра предстоит трудный день. Надо довести до конца эту странную историю.

Где-то на задворках усталого мозга, на краю дремлющего сознания жило ощущение, или воспоминание, или предчувствие: я знаю ответ на все вопросы, со мной это все уже было, однажды я уже все это пережил – терял, любил, скорбел и ненавидел.

Но когда? Кого? Не мог понять. Или припомнить. А может быть, предположить.

Почему? Почему же никому не нужно знать, от чего и как умер Коляныч? Почему этого не хочет директор школы Оюшминальд? Почему так ожесточенно отталкивает мои вопросы Вихоть? И Владилену это совершенно не нужно – дед ведь уже прожил долгую, хорошую жизнь. Странно. Непонятно мне.

У Лары закрывались глаза, и веки у нее тяжелели и опускались, как у дремлющей птицы. Только Галя выглядела бодрой, но думала она сейчас о чем-то далеком.

– Идемте спать, – сказал я.

Лара ответила:

– Да, пора. Я устрою Галю с собой, а тебе, Стасик, мы постелим на диванчике у папы, наверху...

Я поднялся по скрипучей лестнице в мансарду. Здесь прошла какая-то очень важная часть моей жизни.

Удивительная комната, переоборудованный в жилье чердак с потолком, косо падающим от одной из стен почти до самого пола на противоположной стороне. Легкий запах пыли и дыма и тугой дух смолистой сосновой вагонки, которой обита мансарда.

Кожанный черный диван с валиками. Старый буфетик с выпуклыми фацетными стеклами, превращенный в книжный шкаф. Подзорная труба. Старый барометр. Старая керосиновая лампа с цветным фаянсовым абажуром. Рассохшиеся венские стулья. Этажерка.

Нигде в домах больше нет этажерок. Вообще не часто встретишь сейчас в доме старые вещи. Не старинные, а старые. Люди не ощущают поэзии старых вещей – с первого рубежа благополучия они выкидывают этот надоевший хлам и покупают модненькую полированную

мебелишку из прессованных опилок. На следующей ступеньке преуспевания возникают финские и югославские гарнитуры. А те, кто взошел уже в полный материальный порядок, начинают азартно собирать «старину»: безразлично – красиво ли это, удобно, уместно ли в современных городских квартирах. Важно, что вещи старинные, подлинные – знак успеха, достатка, жизненного уровня.

А Кольяныч жил в окружении старых вещей. Они были частичками его прошлого, а он не отказывался ни от одного прожитого дня. Я думаю, он жалел эти вещи, как жалеют старых, уже бесполезных в хозяйстве животных. От новых, от молодых наверняка было бы пользы больше, но этих-то стариков не выгонишь – все-таки жизнь прожита с ними.

Окно около постеленного мне дивана было закрыто, я хотел распахнуть его и увидел, что фрамуги так и не расклеивали с зимы. Между рамами лежала запылившаяся вата, украшенная обрезками фольги. И вспомнил, как сказал мне здесь Кольяныч:

– ...Старость – это разобранная новогодняя елка. Исчез аромат хвои, падают желтые иголки, лысые веточки торчат, обрывки серебра. И я бы поверил, что праздник жизни кончился, но всегда вдруг находишь одну-единственную забытую игрушку – и она сулит надежду, что пусть через год, но радость придет снова...

Я скинул ботинки, бросил на стул брюки, прилег на диван, и меня затопило непонятное сонливое возбуждение – я не мог пошевелиться от усталости, и заснуть не было сил.

Я видел забытый под столом коричневый мешок спущенной кислородной подушки – обессиленный понтон тонущего корабля жизни Кольяныча. Все бесполезно. Если бы эта подушка раздулась до размеров дирижабля, она бы и тогда не подняла повисшего над бездной Кольяныча. Телеграмма, как разрывная пуля, уже разрушила его сердце.

Сейчас не нужно думать об этом. Сейчас нужно заснуть. Заснуть.

Вертелся с боку на бок, вставал, курил, ложился опять и прокручивал снова и снова все разговоры за день, придумывал незаданные вопросы завучихе Вихоть, находил остроумно-едкие ответы Владилену, стыдил директора Оюшминальда – и меня заполняла огромная обида, боль, печаль. Остро саднящий, жгучий струп незаживающей душевной раны.

Лежал неподвижно и слушал вязкую, стоялую тишину и рассматривал через окно на затянутом дымной пеленой небосводе слепую серебряную монету луны.

И в этой тишине мне слышно было чье-то тяжелое хриплое дыхание, где-то внизу ни с того ни с сего закрипели и смолкли деревянные половицы, отчетливо звякнуло лопнувшее стекло, невпопад ударили медным стоном стенные часы. Приподнял с подушки голову, внимательно прислушался.

Нет, никого там нет. Некому ходить. Это мое прошлое уходит из умершего дома.

Нужно уснуть, и сон все растворит, все смоет. Говорят, надо с горем переспать.

Я дожидался этого волшебного мига засыпания – первой ступеньки моста над небытием, за ним – новая жизнь. Но сон еще долго не шел, пока наконец я не открыл глаза и не увидел, что темнота прошла, наступило утро, и ночь выпала из жизни мутным, липким осадком без сновидений.

Школа в Рузаеве красиво стоит – в самом конце Добролюбовской улицы, на вершине холма, и просматривается оттуда вся далекая округа: лес, река, красные руины Спасо-Никольского монастыря. Сама школа в лучах утреннего солнца была похожа на огромный кусок рафинада: белые стены с голубовато-синими отблесками огромных окон.

Построили школу по самому современному проекту. Два трехэтажных блока, соединенных прозрачной аркой перехода. И внутри в последней предэкзаменационной паузе – завтра должны были начаться выпускные экзамены – школа была такая же вымытая, нарядная и праздничная. Цветы, плакаты, лозунги, малолюдство и тишина – приметы предстоящего праздника и волнения, как перед стартовым выстрелом на соревнованиях.

Я поднялся на второй этаж и прошел в учительскую. Немолодая женщина писала за столом что-то в журнале. Она подняла на меня взгляд, мгновение присматривалась, потом сказала:

– А-а, здравствуйте...

И я вспомнил, что видел ее вчера на поминках. Круглое лицо, рыжевато-седые волосы, стянутые на затылке в скудный пучок, блеклый крап веснушек. Нас, кажется, познакомили, но в царившей сутолоке я успел сразу же позабыть, как ее зовут и кто она такая.

– Меня зовут Маргарита Петровна, – избавила она меня от неловкости. – Я преподаю географию. Мы с Николаем Ивановичем были ветераны школы. Вместе работали еще в старом здании. А теперь только я осталась. Последняя, можно сказать...

Свежий аромат клейкой тополиной листвы и сирени, врывавшийся в учительскую через окна, смешивался с больничным запахом соды и хозяйственного мыла – где-то рядом мыли, чистили классы.

На лице Маргариты Петровны лежала печать испуга и искренней грусти – именно сегодня, в пустой учительской, она, наверное, почувствовала, что осталась из всех стариков в школе последней.

– Маргарита Петровна, мне не дают покоя обстоятельства смерти Коростылева. Вы ведь в курсе дела?

– Да, конечно, – вздохнула она, и я рассмотрел, что под веснушками у нее кожа не розовая, а старчески красноватая. – У нас все об этом знают. Да что поделаешь...

– Вот я пытаюсь что-то поделать, – сказал я, прочно усевшись на стуле перед ней. – Вы ведь были в дружеских отношениях с Коростылевым?

– Да, скорее всего, у нас были дружеские, добрые отношения, – задумалась она, сняла очки и положила на стол. – Мы не были закадычными друзьями, но столько лет вместе работали, так много прожито вместе! Да и человек он был очень хороший...

– У вас нет никаких предположений – кто, почему, зачем мог прислать эту телеграмму Николаю Ивановичу?

Она развела руками:

– Ну как здесь предположишь что-нибудь? Как язык повернется про кого-нибудь сказать такое! Грех на душу взять боязно! Я ведь и представить себе не могу такого врага у него, чтоб мог столь злодейскую шутку учинить.

Она смотрела на меня растеряннo и опасливо, и мне казалось, что ей хочется, чтобы кто-нибудь пришел в учительскую и прервал наш разговор. И тогда я спросил напрямик:

– А мне показалось, что у Коростылева были не слишком доброжелательные отношения с вашим завучем Вихоть...

Старая географичка заморгала, как девочка, веснушки совсем утонули в багровом румянце, она потупилась, заерзала:

– Я так не могу сказать. Они, возможно, были не очень теплые – отношения у них, я имею в виду, но нельзя ведь назвать их недоброжелательными. – Вздохнула тяжело и добавила: – Хотя, конечно, у них были столкновения...

Прежде чем углубляться в это сообщение, я решил уточнить для себя один не очень ясный вопрос:

– Маргарита Петровна, а власть завуча в школе велика?

Меня рассмешила ее реакция. Весь вид ее изображал – что за нелепость?! А ответила очень осторожно:

– Ну, как вам сказать... От завуча ведь довольно много зависит... Это проблема весьма сложная...

Я усмехнулся:

– А чего там сложного? Вы мне расскажите, чем завуч занимается, тогда мы вместе оценим ее власть.

Маргарита Петровна поежилась, помялась, я видел, что ей страшно обсуждать дела завуча, наконец решилась:

– От завуча зависит расписание уроков, то есть наша занятость. Так сказать, количество часов, которые выделяются...

– А количество часов – это заработок? – переспросил я.

– Ну естественно! Кроме того, завуч в известной мере является экспертом нашей работы. Молодых учителей завуч аттестует, определяет их профессиональный уровень. А для тех, кто готовится к пенсии, особенно важно, какую даст завуч учебную нагрузку...

– Почему?

– Так ведь размер пенсии зависит от заработка в последний год! Ну а пенсионера вроде меня, если завуч занелюбит, можно вообще вытурить в один хлоп...

– Вот мы и выяснили вдвоем, что власти и возможностей у завуча в школе хватает, – покачал я головой и спросил еще: – Маргарита Петровна, может быть, я ошибаюсь, тогда вы меня поправьте, но вчера на поминках мне показалось, что школьные преподаватели относятся к Екатерине Степановне Вихоть очень сдержанно.

Учительница пришла в совершенное смятение, на ее добром, простоватом лице выступили от волнения мелкие бисеринки пота.

– Вы ставите меня в очень трудное положение, предлагая оценивать их отношения... Я и о Екатерине Степановне не хотела бы ничего говорить, поскольку она человек сложный и отношения с людьми у нее непростые...

– А в чем эта сложность отношений?

– Понимаете, с ней стараются по возможности избегать конфликтов, потому что она женщина резкая и памятьливая.

– Так, это я уже понял, – согласился я. – Но Коростылев, как мне сдается, этих конфликтов не боялся. Вы мне не скажете, в чем, собственно, расходились-то они с завучем?

– Как бы это точнее сказать? – Географичка поежилась, будто от пронизывающего ветерка. – Я не умею формулировать... Но однажды Коростылев при мне сказал ей: учителю, которого не любят ученики, надо менять работу. Он, скорее всего, ребенка ничему не научит, а если научит, то школьник это плохо запомнит, а если все-таки задолбит, то употребит не для доброго дела...

– Позиция спорная, – усмехнулся я. – Но, видимо, она и определила их отношения?

Маргарита Петровна долго сосредоточенно черкала что-то в журнале, потом бросила ручку на стол и сказала:

– Видите ли, их отношения сложились таким образом не сразу, они имеют некоторую историю, так сказать. Раньше они не выходили за рамки профессиональных разногласий, связанных с неодинаковым подходом к вопросу обучения. Потом это уже стало обрастать разным отношением к людям, превращаясь постепенно в столкновение мировоззрений...

– И что, долгая история у этого столкновения?

– Я думаю, что их человеческие взаимоотношения сломались после суда между Салтыковыми.

– А что за суд? – поинтересовался я.

– У нас учится девочка – Настя Салтыкова. Сложная девочка. Она заканчивает в этом году десятый класс. Доставалось нам с ней. И вот два года назад отец Насти, который официально разведен с матерью, подал в суд иск о передаче ему права воспитывать девочку...

– Да, это нечасто бывает. А чем он мотивировал?..

– Мол, мать Насти не разрешает ему встречаться с ней. Ну, знаете, обычная драма неудачного брака – воюют между собой родители, а страдают дети...

– А какое это имело отношение к Коростылеву? – спросил я.

– Дело в том, что в суде Коростылев совершенно неожиданно поддержал отца. Он настаивал на том, чтобы девочку передали на воспитание Константину Салтыкову. Это для многих было неожиданно, но у Николая Ивановича всегда были какие-то особые, неожиданные для многих поступки и соображения...

– А вы сами, Маргарита Петровна, что считали правильным?

– Я? – будто впервые задумалась она над этим вопросом. – Пожалуй, я тоже считала бы правильным передать девочку отцу... Мне никогда не казалось, что мать Насти Салтыковой может дать ей надлежащее нравственное воспитание. Но меня в суд не вызывали...

– И что? Почему этот суд повлиял на отношения Коростылева с завучем?

– Так ведь мамаша Салтыкова – близкая подруга Вихоть! И Екатерина Степановна тогда очень возмутилась позицией Николая Ивановича, чуть ли не до скандала дошло! И в суде, и потом здесь, в учительской, был очень крупный разговор.

– А как объяснял Коростылев свою поддержку иска отца? – допытывался я.

– Вы знаете, я бы не хотела сплетничать о матери Салтыковой или, упаси бог, Екатерине Степановне, – смущенно сказала географичка, – но Салтыкова – крупный торговый работник, ну, знаете, со всеми свойственными этому роду людей чертами. И Николай Иванович считал, что она дурно воспитывает девочку. Но почему он стоял за Константина Салтыкова в суде, я вам не могу точно объяснить, я его весьма плохо знаю. Гораздо лучше, чем я, Салтыкова знает наш физик Сухов. Они вместе ездят на охоту, на рыбалку, наверняка между собой обсуждают свои проблемы. Если вас интересует этот вопрос, то, наверное, Сухов мог бы вам лучше объяснить существо спора...

В это время резко распахнулась дверь, и в учительскую заглянула Вихоть. Молча, внимательно переводила она тяжелый взгляд с меня на учительницу, будто проверяя, что здесь могла она наболтать неуместного, какой сор выносила без спросу из ее избы. Потом сухо кивнула и снова пригляделась к Маргарите Петровне, словно проверяла взволнованную географичку на детекторе лжи, и я с болью наблюдал, как женщина под давлением серых выпуклых глаз Вихоть быстро увядает, сникает, корчится, словно ее застигли за очень непотребным занятием. Я так же молча кивнул, а учительница робко сказала:

– Здравствуйте, Екатерина Степановна, доброе утро. – И говорила она это стоя.

Ничего не поделаешь – обратная связь. Дети, когда в класс входит учитель, должны встать из-за парты.

Не ответив, Вихоть сделала шаг назад, и дверь захлопнулась. Ушла. И по выражению лица Маргариты Петровны я понял, что она ничего мне не скажет больше.

– Спасибо, Маргарита Петровна, за разговор. Вы не подскажете, где мне разыскать Сухова?

– А он наверняка у себя, в кабинете физики. Это на третьем этаже, справа от лестничного марша...

И физика Сухова я вчера видел в доме Кольяныча. Все эти люди постепенно приобретали для меня объем, содержание, характер, как в спектакле, когда за открывшимся занавесом появляются неведомые зрителю персонажи, коротко перечисленные в программке, и начинают словами своими и поступками обретать личность, душевную плоть. Вчера еще заметил кривую ухмылку на его лице, ухмылку, похожую на оскал, совсем неуместную во время поминального тоста завуча о безвременно ушедшем товарище.

Сейчас он возился с электрической машиной, которую я помнил еще со школы, – вертикальный круг с наклеенными полосками из фольги. Крутишь за ручку, и где-то там возникает статическое электричество. А может быть, не статическое. Не помню. Печальное и счастливое свойство нашей памяти – забывать то, чем не пользуешься. Отмирает, как хвост. Жаль. Наверное, нам хвост не мешал бы. Гордились бы и соперничали в красоте, гибкости и силе хвоста. И

моды были бы другие. И отдыхали бы не на стуле, а на ветке. Давным-давно хвост стал ненужным, мы забыли о нем, и он от обиды и неупотребления отвалился.

Сухов взглянул на меня и коротко сказал:

– Привет.

– Привет.

Он кивнул мне на табурет рядом со своим столом, продолжая ковыряться в машине, и оттого, что длины пальцев не хватало добраться до кончика сорвавшегося проводка, он закусывал губу и напряженно кривил рот, как вчера во время тоста Екатерины Степановны Вихоть. И я снова пожалел, что у людей отмер хвост – как бы он сейчас пригодился Сухову! Придержаться, подтолкнуть оторвавшийся проводок. Нет, не могу я поверить, что так уж сильно мешал хвост праобезьяночеловеку. И мне бы не помешало, если бы я помнил, как называется эта машина. Но я забыл. А у людей, скорее всего, хвоста и не было никогда – иначе они от него сроду бы не отказались. Растили бы и холили, до двух метров длиной выращивали.

А у Сухова была короткая русая борода, которая лицо его не старила, не солиднила, а только подчеркивала его безусловную прекрасную молодость. Борода выглядела симпатичной мочалочкой, приклеенной к лицу мальчишки для детского спектакля. Очень серьезный деловой мальчишка.

– Вы чего-нибудь толковое собрали? – спросил он строго. – Факты? Свидетельства?

– У вас тут соберешь факты... – усмехнулся я. – Все друг друга ценят, любят, уважают... Искренне скорбят... Неприятность маленькая приключилась, правда... Но лучше об этом забыть... Как утверждает ваша завуч, школа к этому происшествию отношения не имеет... И помочь мне не в силах, поскольку склонности и опыта в сыскной работе не имеет...

– Это Вихоть склонности такой не имеет? – переспросил Сухов и присвистнул. – Да она в курсе не только наших разговоров, но и помыслов невысказанных. Вы похлопочите – может, ее возьмут в ваш служебный питомник, где эти лохматые «гав-гав» бегают, – лучшего приобретения не будет...

– Наши лохматые «гав-гав» не делают – они молча работают, – заметил я.

– Тогда отпадает – наша без «гав-гав» шага не ступит. А нюх замечательный. Два моих парня, Белов и Радкевич, в прошлом году поехали в Москву, пришли в планетарий, а там какой-то школьный конкурс. Ребята крепкие, написали хорошие работы и шутки ради подписались: один – Воронцов, а другой – Вельяминов. А через неделю в школу из планетария пришло письмо – приглашаем, дескать, ваших десятиклассников Воронцова и Вельяминова на следующий тур конкурса по астрономии. Письмо попало к Вихоть, и тут она такой хай подняла!

– А чего она, собственно, хотела?

– Что парни, мол, глупой мистификацией опозорили школу. Мы ей с Коростылевым талдычим, что сотрудники планетария порадовались хорошей работе и приняли участие в шутке, что они не могли не заметить фамилии автора канонического учебника по астрономии, а она – как взбесилась. Целое расследование произвела, установила, что это были Белов и Радкевич, не поленилась в Москву поехать уточнить и требовала им примерного наказания за жульничество. Еле тогда ее Коростылев уговорил...

– Да-а, я вижу, что не больно вы высокого мнения о вашем завуче, – сказал я.

– Ну, это у нас взаимно. Про наши отношения есть очень жестокий романс: «Нет, не люблю я вас, да и любить не стану». Ой, не стану... Да и не боюсь я ее... Плевать мне на нее.

Я видел, что он напрягся и хорохорится. Я сказал примирительно:

– Вы, наверное, помните, что Швейк в таких случаях говорил: «Пан, не плюйте здесь».

А вы что, намылились уходить из школы?

Сухов с досадой махнул рукой:

– Боюсь, что придется. Особенно теперь, когда умер Коростылев. Он был потрясный мужик. Да что вам рассказывать – вы его, надо полагать, лучше знали...

– А куда уходить надумали?

– Не знаю пока точно. Дело в том, что я ведь поступал учиться на физфак в университет, да полбалла не добрал, пошел на физмат в пединститут. Честно говоря, пришел я сюда по распределению с некоторым отвращением – какой из меня учитель? Такие, как я, – это педагоги «поверх голов»... Мечтал отбарабанить три года и уехать в Москву, куда-нибудь в серьезную фирму прибиться кем угодно, хоть лаборантом...

– А потом?

– А потом с Коростылевым подружился. Он меня рассмешил вопросом: на кого больше всего обращают внимание прохожие? На генералов – говорит. Спокон века придумали им такую яркую форму, чтобы вся улица видела, какой важный человек идет. Ты, говорит, Сухов, подожди маленько, скоро все человечество поумнеет, и тогда такую форму с соответствующим пиететом преподнесут учителям, поскольку на сегодня это важнейшая в мире профессия.

– И вы, Сухов, решили подождать генеральской формы для учителей? – поинтересовался я.

– Да. Решил подождать, пока человечество поумнеет и оценит важность нашей работы. А сам думаю укрепнуть помаленьку в своем ремесле, чтобы форма впору пришлась. Мне одноглазый, полуслепой Коростылев открыл глаза на очень многое в жизни, в детях, в моей работе. Да что говорить! Редкоземельный человек был...

– У меня к вам вопрос... – скромно сказал я.

– Пожалуйста, хоть десять.

– Нет, один-единственный. Через несколько лет придет в школу новый учитель. Генеральская форма для педагогов еще не придумана. Коростылев давно умер. Сухов с наслаждением трудится старшим лаборантом в какой-то серьезной физико-технической фирме. Кто открывает новичку глаза? Вихоть? Географичка Маргарита Петровна? Нет, географичку Вихоть давно вышибла на пенсию. Тихий толстяк Оюшминальд?

– Ну это вы про Бутова зря так! – решительно отклонил мой выпад Сухов. – Он мужик хороший, добрый он человек!

– Возможно. Но я считаю хорошим человеком того, кто доброе делает, а не воздерживается от плохого...

– А он и делает каждый день доброе! – вскинулся Сухов. – Он мямля, конечно, но вы его не поняли. Бутов – гениальный учитель математики. Он объясняет тригонометрические функции ребятам так, что они их, как серии про Знатоков, глотают. На его методические уроки математики со всей области ездят... Хотя администратор он, конечно, никакой...

– Да уж это я заметил. И так – кто? Кто встретит новичка в школе?

– Не знаю... Тот же Бутов. Да и еще кто-нибудь найдется...

– Наверное, найдется. А может, не найдется. Нельзя, чтобы прерывалась нить. От Коростылева к вам с Надей. От вас – к «Воронцову» и «Вельяминову»...

Он сердито крикнул:

– Вам легко рассуждать, вы завтра уедете! А мне здесь с этим преподавателем каждый день сражаться! Это ж не работа, а сплошная Куликовская битва!

– Сухов, поверьте, честное слово. Мне очень трудно что-нибудь вразумительное рассудить здесь. Туман, разговоры, подозрения; где правда, где домыслы, где верная отгадка, где пустые сплетни – мне нелегко с этим разобраться. Но я не уеду отсюда завтра. Я не уеду до тех пор, пока вы не привяжете к своей судьбе лопнувшую нить жизни Коростылева. И не найду того, кто оборвал ее...

Он молча смотрел на свою испорченную электрическую машину, потом резко повернулся ко мне:

– А вы подозреваете Вихоть?



– Не очень. Вряд ли она напрямую с этим связана. Но мне кажется, что она знает гораздо больше, чем говорит... Кстати, что это за история с судом родителей Насти Салтыковой? Вы ведь хорошо знаете отца...

– Да, мы с ним соседи... Приятельствуем, вместе на рыбалку ездим. У него мотоцикл «юпитер». Я с ним познакомился уже после этого злополучного суда. Он вчинил иск о передаче ему на воспитание их дочери – Насти этой самой. А бывшая жена, конечно, легко выиграла суд, и девочка осталась с ней...

– Чем Салтыков мотивировал иск?

– Что мать торгашка и в доме у ребенка создан торгашеский грязный дух. Костя Салтыков – простой парень, замечательный слесарь, хороший, чистый человек, а мать там – клопица наливная и девку портит. Костя был уверен, что суд в его пользу решит, тем более что его поддерживал такой человек, как Коростылев.

– А девочка-то сама с кем хотела жить?

– Так в том и дело – Костя подал заявление в суд, поскольку девчонка сказала ему, что уходит от матери к нему. А на суде вдруг заявила, что снова перерешила и будет жить с матерью. А потом своим же одноклассницам рассказала, что мать ей накануне суда югославскую дубленку подарила и достала путевку в «Артек»...

– Из-за этого девчонка передумала?

– Наверное... Коростылев ведь и бился тогда против жены Салтыкова, объясняя, что она воспитывает в девочке лживость, вероломство, лицемерие... Он говорил, что слово «вероломство» происходит от слома веры в человеческие добродетели...

– А Вихоть поддерживала Салтыкову?

– Конечно! Они старинные подруги.

– Н-да, занятно... Скажите, Сухов, а вы тоже считаете, что Салтыкова плохо воспитывает девочку?

– Естественно! Она ведь не говорит ей – делай плохо, ври, жульничай. Мать подает ей пример собственным поведением, воспитывает девочку собственной жизнью...

– А кем Салтыкова работает?

– О, она человек большой! Кормилица всеобщая! Директор Дома торговли... Всемогущая баба...

– И что же она может, эта всемогущая Салтыкова?

– Все! Люди хотят получше одеться, вкуснее пожрать, и, пока будет существовать категория товаров повышенного спроса под названием «дефицит», Салтыкова может все – большую квартиру вне очереди, санаторий только в Сочи, машину для любовника, дочку-двоечницу – в московский институт... Все готовы оплатить за ее расположение и внимание...

– Все? – усомнился я. – Разве Коростылев доставал у Салтыковой вкусную жратву? Или, может быть, фирменные шмотки брал?

– Коростылев! Он человек особый был! Он за неделю до смерти сказал мне: «Меня, Алешка, сильно огорчает, что люди забыли и обезобразили слово „приличный“». Я тогда еще удивился...

– А что он имел в виду?

– То, что употребляют это слово в смысле «подходящий», «приемлемый». А Коростылев считал, что приличие – это то, что ПРИ ЛИЦЕ человеческом достойно быть. Вот он и не любил Салтыкову, неприличным человеком полагал ее...

– Да, это на него похоже. И наверняка не скрывал от нее?

– Нет, не скрывал. И боялся, чтобы энергия предубеждения против матери не излилась на дочь. Нервничал из-за этого.

– А в чем можно было усмотреть предубеждение против девочки?

– Коростылев твердо решил выставить ей двойку по русскому языку за год. Не аттестовывать перед выпускными экзаменами...

– Так-так-так... Я об этом впервые слышу!

– Это и неудивительно. Знали всего несколько человек, он собирался поставить этот вопрос на педсовете на прошлой неделе – итоговый педсовет за год. Но не успел. Умер...

– Директор, конечно, знал?

– Знал. Знала Вихоть, еще несколько человек были в курсе дела...

Оюшминальд Андреевич Бутов занимал маленький уютный кабинет. А может быть, он только казался маленьким, как вся мебель в нем – хрупкой и хилой, поскольку весь объем комнаты заполнялся обильным телом директора.

Но ощущения величавой значительности эта масса не создавала. По-прежнему казалось, что огромного младшеклассника поймали за курением папиросок из потертого кожаного портсигарчика и в ожидании наказания усадили за директорский стол. Он томился, терпеливо готовясь к предстоящим взысканиям.

– Оюшминальд Андреич, так вы уж мне поясните насчет педсовета, – подгонял я его ровно, но неотступно. – Когда он состоялся?

– В прошлую пятницу.

– А Коростылев умер в четверг...

– Не понимаю, какая тут связь может быть, – запыхтел Бутов и, как преследуемый паромход, попытался скрыться за дымовой завесой папиросы, печально блеснули затуманенные иллюминаторы его очков в сизой полосе.

– Возможно, что никакой, я просто выстраиваю хронологическую цепь событий, – сказал я не спеша. – А что, допустил педсовет до экзаменов Настю Салтыкову? Выставили ей тройку по русскому?

– Да, мы допустили ее до экзаменов, – шумно задышал Бутов, капельки пота выступили у него на лбу. – Настя, конечно, слабая девочка... Но ведь мы должны учитывать все факторы... И в семье не слишком благополучно... И способности не ахти какие... И, чего лукавить, для школы это был бы сильный прокол... Существуют, никуда не денешься, и учетные показатели, и репутация школьная...

– Ну и не будем с вами сбрасывать со счетов такой фактор, как мама Салтыкова – человек в городе не последний, – заметил я серьезно.

И Бутов легко согласился:

– Да, и мама Салтыкова. Если бы мы не допустили Настю к экзаменам, нас бы мамаша до смерти затаскала по инстанциям...

Я надеялся, что он еще что-то скажет, но Бутов круто замолчал. Через растворенную в коридор дверь доносились до нас гулкие ребячьи голоса, перекатывающиеся эхом по пустой школе. Оюшминальд страдальчески морщил лицо. Я почему-то подумал, что он должен хорошо играть в шахматы – с деревянными фигурками ему проще взаимодействовать, клетчатая доска должна дарить ему свободу уединения, радостное ощущение самостоятельности.

– Вы знаете, что такое гамбит?

– Да, – растерялся он. – Шахматная комбинация. А что?

– По-итальянски «гамбит» значит «подножка»...

– Не понял... – покачал он головой, огромной мясной башкой затюканного житейскими проблемами мыслителя.

– Телеграмма, которая прислана Коростылеву, – это гамбит. Возможно...

– Почему вы так думаете? – испугался и удивился одновременно Бутов.

– Давайте вспомним вместе кое-что...

– Давайте, – покорно согласился он.

– Ну-ка, вспоминайте, что вам сказал Коростылев на прошлой неделе, когда сообщил о своем решении не аттестовать Настю Салтыкову... Только вспоминайте, пожалуйста, подробно. Все вспоминайте...

– Я постараюсь... Это был долгий сумбурный разговор... Как я понял, решение Николая Ивановича было принципиальным... Он говорил, что никогда не сделал бы этого, если бы девочка собиралась стать парикмахером, продавцом или стюардессой... Но она собиралась поступать в педагогический институт...

– В педагогический? – пришла пора удивиться мне.

– Да, так сказал Николай Иваныч... И я думаю, что это правда... Мол, Настя Салтыкова хвасталась перед одноклассниками, что ей приготовлено место в пединституте, что якобы мать уже обо всем договорилась... А самой Насте наплевать, где учиться, важно получить диплом...

– И что по этому поводу говорил вам Коростылев?

– Он считал, что если мы это допустим, то совершим геометрически множащийся аморальный поступок...

Я перебил Бутова:

– Коростылев вам наверняка сказал, что нельзя демонстрировать детям, как жульничеством, трусостью и корыстью, молчаливым согласием равнодушных можно расхватывать удобные места в жизни...

Оюшминальд кивнул:

– Да, Николай Иванович повторял все время, что русский язык и написанная на нем литература – это мировоззрение народа и он не поставит Насте за это убогое знание, за искривленное, уродливое мировоззрение оценку «удовлетворительно», ибо оно никого не может удовлетворить.

– И скорее всего, он сильно сомневался в профессиональном будущем девочки? – спросил я, хорошо представляя себе весь разговор.

– Наверное, – горестно вздохнул Бутов. – Коростылев сказал, что родившиеся сегодня дети придут через несколько лет к молодой учительнице Салтыковой в класс, и она воспитает в них убогую торгашескую философию...

– И после этого вы позавчера на педсовете допустили Настю к экзаменам?

Оюшминальд тяжело, багрово покраснел, бессильно развел руками:

– Педсовет – коллегиальный орган. Решения принимают голосованием...

– Особенно если им энергично и целенаправленно руководит завуч...

Бутов мучительно сморщился и вяло стал возражать:

– Ну, напрасно вы так... Сгущаете вы... И против Екатерины Степановны у вас предвзятость... Тенденция, так сказать... Она человек сложный, но душевный... Да, душевное тепло есть у нее...

– Ага, – согласился я. – Правда, ее душевное тепло надо измерять в джоулях...

«Жигуль» с разгона легко влетел на взгорок, и крутизна подъема задирала капот машины вверх, будто поднимался я в гудящей кабине аттракциона «иммельман», и, когда ощущение полета к небу превратилось в уверенность, что автомобильчик сейчас оторвется от пыльной дороги, подпрыгнет и я повисну в нем вниз головой, над сиренево-дымчатым Рузаевым, в белесом редком воздухе, и увижу весь городок сразу – стеклянно-бетонный центр, фабричную окраину с тусклым стелющимся дымом над трубой и зеленым кладбищем с другого конца, – в этот момент в лобовом стекле возник деревянный маленький дом Кольяныча, гребень дороги переломился, выровнялась машина, земля стала на место, взлет не состоялся, и я резко тормознул у забора, густо заросшего бирючиной и раkitником.

А в доме царило оживление. Галя в шерстяном костюме брусничного цвета расхаживала по столовой, двигалась плавно, не спеша переставляя свои длинные стройные ноги, обтянутые

красивой мягкой юбкой, а дойдя до буфета, быстро и грациозно поворачивалась, точно как манекенщицы на показе новых мод. Она себе нравилась, на лице ее дремала спокойная гармония чувств – она любила сейчас людей и знала, что люди любят ее.

Лара слабо и невыразительно улыбалась, сидя в углу дивана. У нее был вид человека, которого покинули силы, бесследно истекли, и она подпирала рукой голову так осторожно, будто боялась, что эта уставшая, никому не нужная голова, если забыть о ней совсем, может упасть на пол и разбиться. А Владилен, наоборот, был исполнен здоровья и всепоглощающей жизненной энергии. Может быть, он переливал в себя вялые жизненные силы Ларки, хотя я понимал, что такой слабой подпитки для столь могучего генератора оптимизма и гедонизма, конечно, недостаточно. Я подумал впервые, что у Владика наверняка есть одна – больше он не может себе позволить из-за занятости – любовница, такая здоровенная развеселая девушка, неслыханная вакханка, молодая жизнерадостная хамка.

Владик прихлопывал в ладоши и шумно восхищался:

– Заме-ча-тель-но! Первый класс! Чистая фирма! Это настоящая ангорка...

Галя победительно взглянула на меня:

– Как находишь?

Она знала, что костюм ей очень идет, оттеняет сливочность кожи, подчеркивает наливную пластичность, ладность ее крупной фигуры – стройной, длинной и в то же время почти ощутимо мягкой.

– Я нахожу тебя очень красивой...

Галя отбросила невозмутимую сдержанность манекенщицы и засветилась улыбкой:

– Я знала, знала, что тебе понравится! Я давно мечтала о таком костюме! Мне многие говорили раньше, что в маленьких городках под Москвой можно найти в магазинах вещи, которые в столице днем с огнем не сыщешь...

– А это что, здесь продается? – удивился я.

– Ну конечно! Естественно, не то чтобы прилавки были завалены... Но мне, к счастью, Екатерина Степановна помогла...

– Кто-кто? – переспросил я настороженно, и предчувствие беды тоненько кольнуло в сердце. – Какая Екатерина Степановна?

– Да вчера она здесь была – завуч школьная, крупная такая дама, очень серьезная... Вихоть, кажется, ее фамилия. По-моему, хоть и несколько провинциальная, но очень милая... – доброжелательно-весело сообщила Галя.

Лара опустила устало глаза, ничего не сказала, а старый служивый жук Владик обостренной интуицией опытного чиновника, ощутив острый сквознячок напряжения, сразу же перестал источать свой неумный восторг. Минуту назад этот гладкий хитрый лис так восхищался новым костюмом, будто приехал сюда не из Гамбурга, а из Тетюшей и впервые увидел симпатичную импортную вещицу. Профессиональная привычка всем говорить только приятное, черта настоящего коммерсанта – набирать моральный капитал, не вкладывая ни одной собственной копейки.

– Я не понял тебя, Галя, – сказал я осторожно. – Каким образом тебе могла помочь Вихоть? И как ты ее нашла?

– Я ее не искала, – пожала плечами Галя. – Я пошла пройтись по городу и зашла в Дом торговли... А там встретила Екатерину Степановну...

– Это когда было?

– Час назад, наверное... А в чем, собственно, дело? Я что-то не понимаю.

Час назад Вихоть заглянула в учительскую, когда я разговаривал со старой географичкой. Потом я пошел к физику Сухову. А она пошла в Дом торговли...

Не отвечая на вопрос Гали, я сказал:

– Мне просто интересно, как покупают импортные костюмы из ангорки. Может быть, там что-то подходящее есть и для меня...

Галя искренне всплеснула руками:

– Конечно! Салтыкова сказала, что к обеду они закончат отоваривание ветеранов, и просила заглянуть вместе с тобой... к вечеру...

– Замечательно, – сказал я. – И уедем мы с тобой отоваренные и всем довольные...

Владик искоса взглянул на Галю и сочувственно улыбнулся ей:

– Ой уж этот дефицит, отец-кормилец! Кабы его не было, то пришлось бы его, как Бога, выдумать...

– Оказывается, ты и с Салтыковой уже знакома, – заметил я. – Быстро ты вошла в местную жизнь...

– А что такого? – возмутилась Галя. – Я что-то не понимаю твоего тона! В чем дело?

– Да нет, ничего нового, ничего особенного. Просто я еще только собираюсь познакомиться с Салтыковой, а ты уже, оказывается, с ней в близких отношениях...

– Что ты несешь? – разозлилась Галя. – В каких отношениях? Человек проявил любезность, внимание к приезжим, а у тебя с твоими навязчивыми идеями – уже бог весть что в голове...

– Ну да, это ты правильно говоришь, – серьезно сказал я. – Обычно Салтыкова прямо с утра стоит на автовокзале, высматривает симпатичных приезжих, чтобы им силой всучить дефицитный импорт из-под прилавка...

– Почему из-под прилавка? Почему ты изо всех сил стараешься придать этому какой-то грязный налет, нечистый привкус? Почему у тебя на все в жизни такая извращенная реакция? – Глаза у Гали стали натекают влагой.

– Потому что ты встретила Екатерину Степановну, вы побалакали маленько, обсудили вчерашние печальные события, немного пожаловались друг другу, потом она тебя привела в кабинет к Салтыковой, познакомила, и вы сразу взаимно понравились, после чего из подсобки принесли на выбор тебе несколько вещей, и ты, счастливая, выбрала брусничный костюм из настоящей ангорки, чистую фирму, первый класс – по свидетельству нашего внешнеторгового эксперта Владика. Так ведь было дело?

– Так или почти так! – с вызовом, упрямо бросилась Галя в бой. – Но почему ты говоришь об этом с таким озлоблением? Я уже давно замечаю в тебе милую потребность отравить мне любой ценой всякую радость! Ты так взбешен, будто я украла этот костюм...

– Лучше бы ты его украла, – сказал я обессиленно.

– Я ничего не понимаю, – растерялась Галя.

– Да, я знаю, что ты мало чего понимаешь. В частности, ты не понимаешь, что Салтыкова лучше всего напаяли бы этот костюм не на тебя, а на меня и по возможности всучила бы мне его бесплатно – только бы я не совался к ней. Ты можешь сообразить своей куриной головой, что мне дали – через тебя – взятку услугой! Ты это понять способна?

– Не смей так со мной разговаривать, – тихо сказала Галя, и слезы струйками побежали по ее щекам.

Владик подошел ко мне и успокаивающе похлопал по плечу:

– Перестань, Стас, перестань, не расходишь, ну не преувеличивай... Галя не подумала просто, она ведь ничего плохого и в мыслях не держала... И не произошло ничего страшного...

– Да мне и думать нечего было! – закричала Галя. – Откуда я могу знать о здешней тараканьей борьбе, обо всех этих ничтожных, гадких интригах...

Я чувствовал, как клубится, постепенно затопляя меня, черная бесплодная ярость, желание заорать звериным воплем, ударить в это красивое ненавистное лицо, исчезнуть.

Но не закричал. Продышался, будто вынырнул с огромной глубины, и сдавленно-тихо сказал:

– Я тебя прошу костюм снять, упаковать и отнести обратно в магазин...

– Как? – поразилась Галя.

– Очень просто. Отнеси и скажи Салтыковой, что костюм тебе мал, что я не разрешаю брать вещей из-под прилавка, что ты терпеть не можешь фирменную ангорку! Говори что хочешь – но костюма чтобы я этого не видел!

– Ты из меня делаешь совершенную дуру! Тебе нужно, чтобы надо мной смеялись? – закричала Галя.

– Нет. Мне нужно, чтобы я тебя не стыдился. Иди в магазин и сдай костюм...

– Стас, ты меня извини, конечно, что я вмешиваюсь, но, мне кажется, ты не прав сейчас, – сочувственно-мягко сказал Владик. – Не только Галя, но и я не улавливаю смысл некоторых твоих действий... А возникновение твоих симпатий и антипатий иногда просто непостижимо для меня...

В тишине раздавались только судорожные всхлипывания Гали.

– Скажи, Владик, ты ведь опытный человек, житейски-бытовой мудрец... Может быть, действительно мне надо завязывать со всей этой суетой и нервотрепкой?

Он скорчил гримасу совершеннейшего недоумения:

– Я тебе, Стас, в таких вопросах не советчик... Это твоя профессия, тебе и карты в руки. Но если сказать по-честному – не верю я, что ты чего-нибудь добьешься. И особого практического смысла не вижу...

– Понятно, – кивнул я. – Ты когда должен уезжать за границу?

– Недели через три-четыре, сейчас документы оформляют. А что?

– Да так, ничего. Мне показалось, что ты не исключаешь возможности, что эти молодцы – которые телеграмму прислали – могут и тебе анонимочку в управление кадров подкинуть. В случае если я их и дальше тормозить буду...

Владик сухо усмехнулся, медленно сказал:

– Грубовато намекаешь на мою душевную черствость, – покачал головой и спокойно добавил: – Вообще-то, я не заходил так далеко в своих размышлениях на эту тему, но готов согласиться с тобой. Те, кто послал телеграмму, могут прислать и пакостную анонимку на меня, и прямой донос на тебя. Эти люди много чего могут.

– И что – ты их опасаясь? – прямо спросил я.

– Ну, не так уж они страшны – и анонимки легко проверяются, а мне бояться нечего – весь я на виду. Но сейчас, перед самым отъездом, это было бы довольно неуместно – ходить оправдываться и доказывать, что мой тесть был честный человек, а они – жулики и что он никого не убивал, а это его убили телеграммой. Знаешь сам, кадровики люди дотошные, в личных делах любят точность и ясность и доказательство твоей положительности начинают от противного...

– Я тебя понял, – снова кивнул я.

Мы помолчали, и Владик чуть погодя сказал:

– Я не знаю, о чем ты сейчас думаешь, но, боюсь, ты меня неправильно понимаешь...

– Я тебя совсем не понимаю. А думаю я о штуке необъяснимой – где, когда, почему размылась грань между понятиями Честь и Бесчестье...

– Погоди... – поднял руку Владик.

– Нет, это ты погоди. Дослушай, может быть, объяснишь мне, бестолковому. Почему человека, пришедшего в гости и укравшего ложку, больше никто на порог не пустит, а всем очевидного государственного вора, взяточника, лихоимца все привечают, кланяются, дружат, в гости ходят, в сахарные уста целуют? До тех пор, пока мы его в тюрьму не посадим. И тогда все выкатывают огромные голубые глаза: «Боже мой, кто бы мог подумать!»

– Мне странно объяснять тебе, служителю закона, презумпцию невиновности. Тысячелетняя мудрость: не пойман – не вор.

– Я не про ловлю говорю. Их и ловить-то нечего, не скрываются давным-давно они ни от кого. На «жигулях», в дубленках, в ангорках, в «Сейках», с «Панасониками», во всех кабаках, на всех курортах, на премьерах и вернисажах – они себя на всеобщий погляд выставляют, они настаивают на внимании к ним, им теперь сытости мало и достаток не радует – им кураж требуется...

– Ну и что ты хочешь – сажать без суда и следствия? Революционного террора? Тебе этого хочется? – посмотрел на меня в упор Владик.

– Нет, мне не хочется никого сажать без суда и следствия, – грустно ответил я. – Мне, вообще-то говоря, никого сажать в тюрьму не хочется. Ты ведь понаслышке знаешь, что это такое. А я знаю это хорошо...

– И что?

– А то, что я им куражиться над памятью твоего тестя Кольяныча не дам. Они его при жизни опасались, как черт крестного знамения. Пусть и после его смерти боятся.

– Может быть, ты и прав, – пожал плечами Владик, но по лицу его было заметно, что он нас вместе с его тестем считает придурками.

– Ладно, что нам с тобой об этом говорить, – махнул я рукой. – У меня к тебе есть просьба...

– Пожалуйста, – готовно согласился Владик, но весь напрягся в ожидании чего-то неприятного.

– В пять часов от автовокзала уходит на Москву автобус – проводи, пожалуйста, Галю, ей надо ехать в Москву. – Повернулся к Гале и твердо сказал: – Тебе, Галя, сегодня надо ехать домой...

Костя Салтыков ремонтировал мотоцикл. Длинный дощатый стол посреди густо заросшего жасминовыми кустами двора был накрыт для странного технического пиршества – в строгом, понятном только хозяину порядке стол был уставлен деталями разобранной на винтики машины. Какие-то узлы мариновались в жестяной банке с керосином, другие обильно смазались солидолом, третьи аппетитно светились на солнце блестящими металлическими бочками.

– Я так и думал, что вы зайдете ко мне поговорить, мне Алеша Сухов рассказывал о вашем разговоре, – сказал Салтыков. – Или к себе вызовете...

– Никого я не могу вызывать, я здесь лицо неофициальное. У меня в этой истории прав не больше, чем у вас или у того же Сухова, – заметил я.

Салтыков через трубочку продул жиклер карбюратора, усмехнулся.

– Раньше я думал, что права тем полагаются, кто на себя обязанности нахлобучивает. А теперь, как посмотрю, с правами стало вроде детской игры «на шарап» – кто больше нахватал, тот и молодец, тот и умник, уважение тебе и почтение наше...

Мне не хотелось с ним темнить и вымудриваться, и спросил я его напрямик:

– Это вы по своей бывшей жене судите?

– А что? – Он положил железку на стол и посмотрел мне в лицо. – Нешто мало мы уважаем Клавдию Сергеевну? Или недодаем чуток почета и внимания? Так вы не спешите – она еще женщина молодая совсем, она растущий кадр, резерв на выдвижение, так сказать. Она еще в большие люди выйдет, далеко пойдет! Если все-таки не остановят...

– Что вы имеете в виду?

– Ничего. Ну подумайте сами – глупо ведь выглядит, когда здоровый, не старый еще мужик жалуется на бросившую его жену. Совестно это мне и глупо. Ни к чему совсем...

Мы помолчали, и я, глядя, как сноровисто точно, ловко и ухватисто снуют пальцы среди лабиринта мотоциклетных частей, сказал:

– Жаловаться ведь – не обязательно плакаться. А на жену вашу бывшую мне уже несколько человек жаловались. Видать, набрала она здесь злую силу...

Салтыков махнул рукой:

– Уехал бы я отсюда, ничего меня здесь не держит... Но как-то перед людьми совестно – совсем никчемушным человечешкой выглядеть неохота.

– А в чем она – никчемушность-то?

– Ну, как там ни верти ни крути, а получается одно – бросила баба мужа, из дома вышибла, ребенка отняла, а теперь совсем из города вон прогнала, чтобы у нее с новым мужем под ногами не путался. Не хочется мне ее в глупой вседозволенности поощрять. А главное, дочке Насте, пока я здесь проживаю, все-таки напоминание, что не во всем права маманька ее боевая...

– А вы регулярно видите с девочкой?

– Каждый день. Как идет на танцы в Дом культуры – так видимся... – Салтыков грустно ухмыльнулся.

– Почему на танцах? – удивился я.

– Потому что перед Домом культуры городская доска почета. Смотрю я на Настю с доски и напоминаю – можно, девочка, человеком быть и от людей уважение иметь не только жульничеством и подношениями... – Он вроде бы немного подсмеивался над собой, но я видел, что его снедает острая душевная боль.

Из банки с керосином он вынул какую-то шестеренку и стал протирать ее ветошью с таким тщанием, будто занимала его чистота этой железяки больше всего на свете. Потер, потер, потом с остервенением бросил тряпку на стол и сказал:

– Девчонку жалко! Про Клавдию говорить нечего – пропащая она, а девку жалко, станет таким же уродом, как мать... Загубит она ее...

– Вообще-то, судя по отзывам о Клавдии, не похожа она на пропащую, – осторожно сказал я. – Наоборот, все ее называют всеильной. И всемогущей...

– Да уж мне-то не рассказывайте! Я ее, слава богу, восемнадцать лет знаю... В чем могущество-то? Все достать может, все по благу устроить? А то, что ее все не любят, не уважают потихоньку, завидуют в открытую, – это тоже сила ее? Пройдет времени маленько – и по всем счетам Насте надо будет рассчитываться. И тут маманькины блатные дружбы не помогут, хищные добра-то не помнят, им память не сердце, а пузо сохраняет... А что в пузе удерживается – сами знаете...

Салтыков насадил шестеренку на вал, проверил прочность соединения, и я с удовольствием смотрел, как набухают силой жилы на его огромных, перепачканных маслом руках.

– Странное дело, – сказал он задумчиво. – Живут люди, будто завтра не наступит. Нет вчера, позабыли о нем, и про завтра не думают. Словно сегодня – последний день. Жрут, пьют, безобразничают... Глупо очень. И обидно... Будто не верят, что завтра солнце тоже встанет...

И, словно самого себя проверяя, закинул голову и взгляделся в недостижимо высокую голубую солнечную верходаль...

Он потянул из банки с керосином звякающую, вспыхивающую искрами цепь, а я спросил:

– А девочка вас не слушает?

– Слушает. Но ничего не выполняет. Ей Клавдия внушила ко мне огромное неуважение. Не враз, конечно, исподволь объяснила она Насте, что нечего смотреть на отца: я ведь, с их точки зрения, тихий, блеклый работяга. По нынешним представлениям человек вполне никчемный. А мать может все: и одежду модную, и жратву лакомую, и магнитофон японский, и «Три мушкетера» макулатурных, и путевку на море. Вот и вырастает девочка, твердо зная, что ничего важнее этого дерьма в жизни не существует...

– Скажите, Костя, а с чего началась вражда Клавдии с Коростылевым?

– Да это было давно, мы еще вместе жили. Она ведь не враждовала с ним, просто искренне не уважала. Она про него говорила – оборванец нищий, черт однорукий, он своей одной рукой никак жирный кусок ухватить не может, вот и другим старается не дать...



– А что Коростылев не давал ей ухватить? Какое он мог иметь к ней вообще отношение?

– Так она в те поры командовала в общепите. И всегда первой лозунг полезный выкопает и начинает им, как фомкой, орудовать. Вот тогда она придумала, что надо шире доносить услуги до населения, одновременно повышая рентабельность предприятий. В школьной столовой например...

– Это каким образом? – не понял я.

– Открыть при школьной столовой цех полуфабрикатов. Это они вместе с завстоловой – старой заворуйкой – удумали. Мол, кормим детей, а потом, чтобы не простаивали производственные мощности, обеспечиваем полуфабрикатами всех учителей и обслуживающий персонал, а все нереализованное продаем с уличных киосков...

– И что?

– А вы посчитайте. В школе почти тысяча детей – тысяча завтраков, тысяча обедов, да еще вся продленка! От каждого рациона если отщипнуть кусочек – сколько за день на круг выйдет? Вот Коростылев и поднял жуткий скандал, когда сообразил, что все это прогрессивное начинание воровством у детей обернулось...

– А официально это как-то рассматривалось?

– Да ведь Коростылев был сам как ребенок! Ничего доказать толком про этих жженных торгашек не смог, его еще самого в сутяжничестве обвинили, но новаторский почин Клавдии пришлось свернуть, а завстоловой, ее компаньоншу, Коростылев все-таки вышиб. Вот с тех пор и познакомились они...

Я встал, хотел попроситься и все-таки не выдержал, спросил:

– Скажите, Костя, а вы всегда так относились к своей бывшей жене? Я хочу спросить – всегда ли вы ее так оценивали?

Он медленно помотал головой, через силу ответил:

– Нет, я ее так не оценивал раньше... Она и не была такой... И относился я к ней совсем по-другому... Когда-то была она замечательной девчонкой... Попала она в это торгашеское болото, и засосала ее трясина – макушки не видать... А-а, чего толковать теперь об этом! Все прошло...

О многом хотел бы я его поспрашивать, да не набрался духа. Потому что понял: ничего не прошло. Длится пожизненная необъяснимая мука большой любви к женщине, которую не уважаешь, презираешь, должен ненавидеть, а лучше всего – позабыть, да только чувствам своим мы не хозяева, и живут они, нас не спрашиваясь, как покинувшие нас любимые...

На лестничной клетке было четыре двери, но, даже не вглядываясь в номера квартир, я сразу понял, куда мне надо звонить: кожано-коричневая, пухло-набивная, узорно обитая желтыми фигурными шляпками гвоздей, с немигающим зрачком смотрового глазка в центре – дверь в жилище Клавдии Салтыковой. Не дверь, а современное городское воротило в маленькую крепость на третьем этаже каркасно-панельного дома.

Нажал на кнопку звонка, но не услышал ни дребезга, ни шума шагов. Тишина. Или никого нет дома, или изоляция хорошая. Еще на всякий случай позвонил и уже собрался уходить, как дверь вдруг распахнулась и досадливый женский голос выкрикнул:

– Да не трезвонь ты, слышу я, слышу!..

Клавдия Салтыкова посмотрела на меня в упор и, видно, сразу догадалась, кто я, – точно так же как я опознал ее, хоть и не приходилось мне видеть ее никогда.

– Ах, это вы, оказывается... Что ж, заходите, коль пришли... – посторонилась, пропуская меня в прихожую, и на лице ее стыло выражение неприязненно-скупающее.

– Здравствуйте, Клавдия Сергеевна. Моя фамилия Тихонов. Прошу прощения за то, что пришел без приглашения, но очень уж мне хотелось поговорить с вами...

– Да знаю я... – сердито кинула она.

Я обернулся в поисках вешалки – оставить куртку и увидел, что дверь изнутри стальная. И рама дверная, вся коробка – стальная. Аккуратно проклеенная обоями под дуб.

Не замечая ее информированности о желании повидаться, я сказал:

– Дверь у вас хорошая... Надежная...

– А у меня все хорошее, – серьезно ответила она. – Я вообще люблю так – чтобы получше и подешевле... По доходам по нашим скромным.

Я засмеялся:

– Насчет получше – это понятно. А как подешевле выходит?

– Калькулировать надо уметь, – туманно сказала она, а потом великодушно пояснила: – В Москве зажиточные люди такие двери за полтыщи ставят, некоторые из-за границы везут. А мне на ремзаводе нашем по наряду за полсотни сварили. И две бутылки за установку. Если вам такая понадобится, могу помочь...

Сказала – и засмеялась издевательски, и во всем ее снисходительном тоне, в манере говорить со мной проступала нескрываемая мысль, что такой нищей гультепе, голи перекатной, как мне с покойным моим дружкой и учителем Кольянычем, не то что стальная дверь не нужна, а на дверную задвижку тратиться глупо.

– Спасибо, Клавдия Сергеевна, за любезное обещание. Накоплю добра на стоимость такой замечательной двери – и сразу вас попрошу.

Она осуждающе покачала головой:

– Вот так во всем! Простых людей милиция призывает надежнее обеспечивать сохранность жилищ, чтобы ворах потачки не давать, а как самим на копейку разориться для укрепления общей законности – так вас нету...

Она провела меня в большую комнату – гостиную, столовую, да и кабинет, наверное, ее домашний.

– Ко мне в дом, Клавдия Сергеевна, воры не полезут. Вы не волнуйтесь – я им потачки не дам...

– Что так – уважают они вас? Или красть нечего?

– Уважают, наверное. Может быть, как раз потому, что красть нечего. А общую законность, как вы говорите, я другим способом укрепляю.

Она показала на зеленую плюшевую заводь югославского дивана:

– Вы садитесь, в ногах правды нету. Да и меня уж за сегодня ноги не держат. С утра – отоваривание ветеранов, вчера учетом замучили, в четверг – снятие остатков...

Она мягко выговаривала – «четверг».

Богатое жилье. Обиталище человека, еще вчера бывшего бедным. У которого вдруг оказалось сразу много денег. И вещей. И все это надо было быстро собрать, притащить в эту квартиру, расставить, разложить, распахать по местам. Или без места. Некогда было раздумывать – место искать. Надо было вещи унести оттуда, где они были раньше, и собрать здесь.

Я оглядывался по сторонам и со стыдом вспоминал свой давний сон – вхожу к себе во двор, а навстречу ветер деньги несет. Кружатся на ветру, мчатся на меня купюры – нежно-сиреневые, как весенний вечер, четвертаки. И сочно-зеленые полсотни, похожие на молодую тополиную листву, хрусткую и клейкую. Я хватаю эти деньги и рассываю их по карманам, за пазуху, тороплюсь изо всех сил – ясно ведь, что сейчас этот поток иссякнет, когда еще такая благодать повторится. И жалею в своем сумасшедшем стыдном сне, что бездна этих деньжищ мимо меня пролетает, пропадает на улице.

Проснулся, как в тяжелом похмелье, – с испугом за себя. А Салтыкова не проснулась, ей все еще снится наяву мой глупый сон. Сидит напротив меня в удобном мягком кресле, запахнув поглубже красивый белый халат со строгой этикеткой «Пума», смотрит мне прямо в лицо и строго спрашивает:

– Так о чем это вы со мной поговорить-то хотели?

– Я вас о многом хотел расспросить...

– Хотеть никому не запрещено, – сурово усмехнулась она. Лицо у нее было тяжело-красивое, и существовал в нем трудноуловимый перелив, как на цветных календариках, где рисунок меняется в зависимости от освещенности и угла зрения. Вот так же ее лицо ежесекундно меняло свой возраст: только что это была двадцатилетняя красавица-девка – и вдруг без всякого перехода смотрела на меня властная немолодая баба с запечатанным жестокостью сердцем.

– Так чего вам там про меня нарасказали? – спросила она равнодушно.

– А почему вы решили, что про вас должны были мне нарасказать? – поинтересовался я.

– Да городишко у нас такой, языки без костей. Им главная радость в жизни – о других посудачить, чужое бельишко перемыть...

– А вы не любите о других говорить, Клавдия Сергеевна?

– Я? – удивилась она. – Да по мне – пропади они пропадом, мое какое дело. Я вообще о других говорю только то, что меня просили передать...

Она сказала это серьезно, и я понял, что это правда. Клавдия Салтыкова была не похожа на человека, тратающего время на сплетни.

Из спальни, оттолкнув неплотно прикрытую дверь, вышла маленькая кривоногая собачонка, пучеглазая, с лохматым хвостом, похожая на декоративную аквариумную рыбу. Деликатно процокав когтями по паркету, собака подошла к Салтыковой и тяжело вспрыгнула к ней на колени. Клавдия потрепала ее ласково по спине и душевно поведала мне:

– Людям бы у нее поучиться не помешало. Это собачка ши-пу, ей тыщи лет несчетные. А выжила такая мелкая тварь благодаря характеру: жадная, умная, трусливая и злая...

– А на кой вам, Клавдия Сергеевна, злая собачонка? – спросил я, вспомнив огромного добродушного Барса.

– Так это она с чужими злая. А со мной она ласковая. – Салтыкова сбросила ее с колен, и собачонка, отряхнувшись, покосилась на меня своими выпученными коричнево-красными глазами и недовольно зарычала густым нутряным хрипом.

Салтыкова встала и пошла на кухню, а я принялся рассматривать небольшую картину в старой раме, висевшую на стене над сервантом. Хозяйка принесла кувшин и два стакана, налила в них сок, и стекло мигом вспотело холодной испариной.

Перехватив мой взгляд, Клавдия заметила вскользь:

– Это хорошая картина. «Деревенский праздник» называется. Художник Кустодиев. Слышали небось?

– Кустодиев? – удивился я.

– Может, Кустодиев. Вроде бабка эта говорила – Кустодиев. В прошлом году у старухи тут одной купила. Из «бывших» бабка. Сохранились у ней кой-какие вещички...

Зазвонил телефон. Салтыкова сняла трубку, недовольно ответила:

– Слушаю... Ну, я... Я, говорю... И что?... Нет... Ничем тебе помочь не могу... Не могу... У меня и так проверка за проверкой... Не знаю... – Она неожиданно усмехнулась, сказала зло-весело: – А у меня и сейчас такой проверяющий сидит... Да, дома. А что такого – у меня время безразмерное, как гэдэровские колготки... Да ладно тебе!.. Если можешь – прости, а не можешь – не надо... Пока.

Бросила на рычаг трубку, походя ткнула кнопку выключателя телевизора, и в комнату влетел с экрана дельтаплан – лохматый стройный парень, гибкий и нежный, высоким страстным голосом пел о любви к своему дельтаплану, с которым они где-то под облаками летают.

Салтыкова сердито хмыкнула:

– Вот, елки-палки, времена настали – жены мужей кормят, мужики поют бабьими головами. Станные дела... Так чего вы хотели спросить?

– Я знаю, что у вас были с покойным Николаем Ивановичем Коростылевым неважные отношения. Вот я и хотел у вас выяснить – почему? Чего не поделили?

Она выключила телевизор, нажала на крышку блестящей сигаретницы, стоящей посреди журнального столика рядом с большой хрустальной пепельницей, ловко ухватила выскочившую сигарету, чиркнула не спеша зажигалкой, затянулась со вкусом, щуря левый глаз от тоненькой струйки дыма, и я обратил внимание на то, какие у нее маленькие руки – короткие пухлые пальчики с длинными полированными ногтями. Странно было видеть у такой крупной женщины эти жирные когтистые лапки.

– Я вам все охотно расскажу. Но перед тем, как ответить на все ваши вопросы, хотела бы и вам задать – всего один...

– Прошу вас.

– А вы кто такой? Вы откуда взялись?

– Взялся я из Москвы, сюда приехал на похороны своего старого учителя, зовут меня Станислав Павлович Тихонов, работаю я в Московском уголовном розыске, по званию я майор милиции. И все это вы, Клавдия Сергеевна, прекрасно знаете...

– Это-то я все знаю, – махнула она рукой. – Неведомо мне только – в каком вы значении здесь-то сидите и вопросы мне задаете? У вас задание есть? Или самоуправничаете?

Молодец Клавдия Сергеевна! Бой-баба. Большую жизнь прожила в торговле! Я засмеялся и мягко ответил:

– У меня есть задание. Я его сам себе дал. Самоуправно...

– Да-а? – зловеще протянула Клавдия. – Очень интересно! Думаю, что правильно будет к вам письмо официальное на работу прислать – начальству вашему и в парторганизацию! Пусть они поинтересуются, как вы тут своими правами и красной книжечкой фигурируете, выгораживаете дружков своих. Или родственников, точно не знаю...

Я жалобно перебил ее:

– Окститесь, Клавдия Сергеевна! Мой дружок и родственник, которого я выгораживаю, на кладбище лежит. Поздно мне его выгораживать...

– Его-то поздно! А меня срамить – по городу ходить с вопросами – не поздно! Я-то еще не померла! Да вам меня не очернить, меня здесь знают, слава богу, не один год! Так что я завтра вам такое письмо организую – и от властей, и от городской общественности. Надеюсь, вам разобъяснят, как себе самому давать задания по личным делам на государственной службе...

Ну что же, пожалуй, пора дать этой зарвавшейся девушке укорот, она и так далеко вато забралась от сознания своей безнаказанности.

Усмехнулся и сказал ласково:

– Мне кажется, что у вас, Клавдия Сергеевна, это становится хобби – загружать работой службы Министерства связи...

Она побледнела, желваки на щеках зачугунели.

– Вы что хотите этим сказать?

– Что вы ошибочно полагаете, будто мои расспросы – это мое частное дело. Мне кажется, что оно уже стало и вашим делом. А поскольку вы со мной говорить не желаете, то завтра я пойду к городскому прокурору, и завтра же, кстати, возвращается начальник управления внутренних дел. Вызовут нас официальной повесткой и будут допрашивать. Вы меня понимаете? Допрашивать, а не разговаривать...

– О чем же это вы хотите меня допрашивать, интересно знать? – подбоченилась Салтыкова.

– Обо всем, что вы можете знать по поводу такого из ряда вон выходящего случая. О несчастье, взволновавшем весь город! Каждый честный человек, которому хоть крупица малая известна, должен был бы не права качать, а постараться помочь разобраться во всей этой печальной истории...

– Так, по-вашему, выходит, что я не честный человек? – с вызовом спросила она.

– Я ничего подобного не говорил, – твердо отрезал я. – Я пришел к вам за ответом на несколько вопросов, а вы решили меня пугануть. Вы напрягитесь, подумайте маленько – вам ли меня страшить?

– Ну и вы меня не напугаете, – поехала она потихоньку на попятную.

– А я вас и не собирался пугать. Я задал вам ясный вопрос: что произошло между вами и покойным Коростылевым?

– Да ничего не произошло! Вздорный, завистливый старик был, прости господи! Вы-то думаете, вам тут все вздыхают горько, слезы рукавами вытирают – что все в трауре глубоком! А я человек прямой и врать не стану – всем он тут надоел, во все дела лез, как клещ липучий. Все ему – и нечестные, и несовестливые, и не такие, и не сякие! Один он праведник, добрым словом сыт! Тьфу, надоел...

Я сидел, опустив глаза, и испытывал боль, будто била она меня с размаху по щекам своими маленькими когтистыми лапками. Боялся взглянуть ей в лицо, закричать, ударить. Только крепче сжимал ладони одну в другой, чтобы не так заметно тряслись руки. И спросил ее негромко:

– Что же вам лично плохого причинил Коростылев?

– Мне? Да мне он и не мог ничего сделать – руки коротки! На ребенке хотел отыграться! Нашел, старый пень, с кем счеты сводить!

– За что же он с Настей мог счеты сводить?

– А за все! Что молода, да хороша, да красиво одета! И его не боится, плевала она на его глупые придирки! Он ей поперек жизни хотел стать, отомстить за свою песью старость!

– А может быть, Клавдия Сергеевна, не хотел Коростылев, чтобы выросла ваша девочка похожей на собачку ши-пу? Может, он ей настоящей жизни желал? Может, хотел, чтобы Настя стала большая, щедрая, смелая и умная? Тогда и тысячи лет не нужно, а хватит нормального человеческого века?

– Ага? Конечно! Он хотел ей добра, а я – зла! Это правильно вы все рассмотрели! Да я жизнь на нее свою положила! Одна, без отца воспитываю! Легко, думаете? Как волчок кручусь – за уроки на пианино четвертак подай, по французскому отстают – учительницу держу, одеть, обуть девку надо? Копейкой никто не поможет, а советы давать да нотации читать каждый горазд! Да ребенка баламутить разговорами...

– Чего ж ее баламутить – она ведь не маленькая уже, думать начинает сама...

– Как же – думает она! Вчера устроила истерику – если не дашь пятнадцать рублей на духи, буду сидеть реветь! Мне ее надо бы за тройки ремнем пороть, а все сердце щемит – мне-то не у кого было на духи просить! Дала, конечно – что ж мне, деньги ее слез дороже? Для нее ведь только и стараюсь, и она уже знает – к отцу-то не пойдет реветь, деньги требовать...

– А почему к отцу не пойдет?

– Да чего с него спрашивать! Серый дурень, городской колхозан, село неумытое.

– Простите, а Настя такого же мнения о своем отце?

– Не знаю, не спрашивала я ее. Так ведь не без глаз она, видит это сокровище. Я и так скрипя сердцем соглашаюсь на их свидания...

– А чем же вам так не нравятся их встречи?

– А тем – что незачем это! Не хочу, чтобы девчонка выросла небесной козой вроде него. Скрипя сердцем позволяю...

Она так и говорила – «скрипя сердцем». Она правильно говорила – я слышал пронзительный, душераздирающий скрип этого ожесточенного сердца. Оно не было смазано ни одним добрым чувством.

– А где сейчас Настя?

– На танцы убежала. У них это быстро – с понтом под зонтом, и помчались на танцульки. А зачем она вам?

– Хотел познакомиться, поговорить, спросить...

– О чем?

– О многом. Например, жалко ли ей Коростылева...

– А я вам за нее отвечу – ей жалко. Так себе и пометьте, где это нужно. Очень жалко. Вообще всех жалко. А себя – особенно.

Перегордив дорогу между домами Кольяныча и учительницы Нади Воронцовой, стоял «запорожец». На крышу маленькой трескучей машинки облокотился высокий красивый парень в спортивном костюме с яркими эмблемами «адидаас». Уперев руки в боки, с ним разговаривала Надина мать. Пока я ставил на обочину автомобиль и вылезал из кабины, не было слышно из-за шума мотора их голосов, но я видел, что говорит она с парнем сердито, а парень весело смеется. Я направился к ним, но парень в это время махнул рукой, распахнул дверцу, лихо нырнул в тесное гнездо за рулем, «запорожец» пулеметно-резко затрещал и помчался вниз по скату дороги.

– Чего сердитесь, Евдокия Романовна? – спросил я Дусю.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.